***ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ***

**ЮНОСТЬ СЕСТЕР ЦВЕТАЕВЫХ**

**Марина Цветаева. Письма к П. Юркевичу (1908, 1910). Публикация О. П. Юркевич. Составление, подготовка текста и комментарии Е. И. Лубянниковой и Л. А. Мнухина. Предисловие А. А. Саакянц**

**Анастасия Цветаева. Николай Миронов. Публикация, подготовка текста и комментарии Станислава Айдиняна; Александр Носов. Невозможность Эроса. Вместо послесловия**

http://magazines.russ.ru:8080/.img/t.gif

**Опубликовано в журнале:**[**«Новый Мир» 1995, №6**](http://magazines.russ.ru:8080/novyi_mi/1995/6/)

**ЮНОСТЬ СЕСТЕР ЦВЕТАЕВЫХ**

**МАРИНА ЦВЕТАЕВАПИСЬМА К П. ЮРКЕВИЧУ (1908, 1910)**\*

*“...Я иногда с умилением вспоминаю нашу с Вами полудетскую встречу... Как мне тогда было грустно!” (из письма М. Цветаевой к П. Юркевичу от 21 июля 1916 года).*

*“Тогда” — это восемь лет назад. Марине Цветаевой неполных шестнадцать. Ей очень трудно; ее гнетет одиночество, неприкаянность; порою ей кажется, что в жизни ей нет места, нет смысла, а сама жизнь уныла, монотонна. Некого любить, не за что гореть. Так далеко позади остался 1902 год, когда десятилетняя Марина влюбилась в... революцию. Да, в революцию, олицетворенную для нее в двух российских изгнанниках (о них пишет Анастасия Цветаева в своих “Воспоминаниях”). Она жила тогда в итальянском городке Нерви. Потом была Ялта, девятьсот пятый год; кругом были знакомые “революционеры”, и все “революционное” в воздухе носилось... А дальше — страшный удар: летом 1906 года в Тарусе умерла Мария Александровна Мейн. Сестры Марина и Анастасия осиротели (вероятно, маленькой Асе все же было легче — в силу возраста и по складу характера). Жизнь в опустевшем доме стала невыносимой, и осенью Марина поступила в частную гимназию-пансион фон Дервиз; там она избывала на людях свое одиночество, а в конце недели приходила домой, где одиночество не отступало, а окружающее не согревало. (Все это отразится в ее полудетских стихах.) Чья-либо малейшая невольная бестактность больно ранила душу; крупица же внимания — растопляла ее... Может быть, обнаружатся когда-нибудь дневники Цветаевой-гимназистки. Скорбь по умершей матери, тоска по высоким идеалам и героике — таково, скорее всего, было содержание дневников этой юной одинокой бунтарки...*

*Весной 1907 года девушка покинула пансион, где царил чуждый ей дух, и осенью поступила в гимназию Алферовой — но и там все было ей чужим и враждебным, и ее тоска и бунт не находили успокоения. Но сохранились дружеские отношения с Соней Юркевич, соученицей еще по предыдущей гимназии. Соня познакомила подругу со своим старшим братом Петром, а летом пригласила ее погостить в их имение Орловку под Тулой. Так произошла “полудетская встреча”, о которой вспоминала потом Цветаева.*

*В Орловке она “оттаяла” и, по ее признанию, “приручилась” к Пете Юркевичу. Он был на три года старше, студент, — и, вероятно, казался ей чересчур спокойным, уравновешенным, серьезным — но зато надежным. После отъезда из Орловки Марина начинает засыпать посланиями своего нового знакомого (друга? приятеля?), она сама не знает, как назвать их отношения, стоит ли обижаться на его невозмутимость, на то, что он, по-видимому, не принимает близко к сердцу ее переживания. Но жажда высказать себя, стремление одинокой души быть понятой, получить сочувствие побеждает, и девушка с обезоруживающей, даже пугающей откровенностью обрушивает на корреспондента весь “поток сознания”. “Но как примириться с мыслью, что революции не будет? Ведь только в ней и жизнь!” Революция, для ее шестнадцати лет, — вовсе “не... средство наполнения голодных желудков, а... горение за мечту”, которая — она уже это знает — недостижима. “Итак, бороться, за недостижимую свободу и за нездешнюю красоту я буду бороться в момент подъема. Не за народ, не за большинство, которое тупо, глупо и всегда неправо”; “...как убедить людей, что гореть надо, а не тлеть”. Именно эти переживания запечатлены в строках стихотворения, написанного летом 1908 года, — строках, которые впоследствии прорастут в грандиозные пожары ее стихов и поэм:*

Хорошо быть красивыми, быстрыми  
И, кострами дразня темноту,  
Любоваться безумными искрами  
И как искры сгореть — на лету!

*(“Лесное царство”)*

*Спасаясь от одиночества и тоски, юная Цветаева бежит к людям и с удивительным мужеством признается: “О, Петя, как тяжело жить одной... Бегу ко всем, лишь бы забыться”. И еще: “Как бы Вам объяснить получше, почему мне так трудно жить. Видите ли, я сознаю свою полную непригодность для жизни”. “Мне страшно хочется умереть рано, пока еще нет стремления вниз, на покой, на отдых”. (Отсюда, кстати, знаменитое стихотворение “Молитва”: “Ты дал мне детство — лучше сказки / И дай мне смерть — в семнадцать лет!”) Она жалуется, что в ее жизни нет ничего яркого, ради чего можно и пострадать, и не страшиться одиночества. Ее сумеречное настроение усугубляется еще и тем, что необходимо сдать два противных экзамена — ведь занятия в гимназии она пропускала...*

*Она явно неравнодушна к Пете Юркевичу, болезненно реагирует на малейшую его, как ей кажется, небрежность. Расшифровав слова из его письма, которые тот из деликатности зачеркнул, она пеняет ему: “...жаль, что не зачеркнули почерней, т<а>к к<а>к я всегда очень основательно изучаю зачеркнутые места, в полной уверенности найти там что-нибудь неприятное”.*

*Эта цветаевская (ибо сохранится на всю жизнь!) обезоруживающая прямота раздражала, могла и оттолкнуть. Через несколько лет, будучи уже матерью двоих детей, Марина Цветаева пожалуется мужу: “Я самый беззащитный человек, которого я знаю. Я к каждому с улицы подхожу вся. И вот улица мстит. А иначе я не умею...” Она расшибалась о людей, об их непроницаемые “грудные клетки”. Вскипающая обида сменяется в письмах жалобным детским желанием, чтобы кто-нибудь “приласкал” ее; за “слишком гордым видом” в ее сердце пряталась “безудержная нежность” — так она напишет позже, в стихах. Эти два начала борются в ней, а вопрос так и остается неразрешимым: любит ли она Петю, или же ей это только кажется?*

Только грустно порою брести сквозь туман,  
От людей свое горе тая, —  
Может быть, это был лишь красивый обман,  
И не знаю, любила ли я.

*Письма и стихи шестнадцатилетней Марины Цветаевой к Петру Юркевичу — это типично цветаевский эпистолярный роман. Поразительно, что из всех ответов Юркевича судьба сохранила черновик одного-единственного, притом того самого, которое и требовалось, чтобы роман получился именно цветаевским. Вот это письмо:*

*“Марина, Вы с Вашим самолюбием пошли на риск первого признания, для меня совершенно неожиданного, возможность которого не приходила мне и в голову. Поэтому отвечать искренне и просто на Ваш ребром поставленный вопрос если бы Вы знали, как мне трудно. Что я Вам отвечу? Что я Вас не люблю? Это будет неверно. Чем же я жил эти два месяца, как не Вами, не Вашими письмами, не известиями о Вас? Но и сказать: да, Марина, люблю... Не думаю, что имел бы на это право. Люблю как милую, славную девушку, словесный и письменный обмен мыслями с которой как бы возвышает мою душу, дает духовную пищу уму и чувству. Если бы я чувствовал, что люблю сильно, глубоко и страстно, я бы Вам сказал: люблю, люблю любовью, не знающей преград, границ и препятствий, ты мое счастье, моя радость, жизнь мою превратишь в царство любви. Но чувствую: сказал бы сейчас это фразой, а не делом, и в скором времени сплоховал бы каким-нибудь позорным образом. Вот Вам мой ответ правдивый, честный, искренний (но не страстный).*

*Любящий Вас, преклоняющийся перед Вашей сложной, почти гениальной натурой и от души желающий Вам возможного счастья на земле.*

*Ваш П. Ю.”1.*

*Схожая ситуация роковым образом повторится впоследствии: сохранится лишь одно письмо Анатолия Штейгера (цветаевских — свыше двадцати пяти) и, по-видимому, только один раз ответит А. Вишняк на десять писем Цветаевой. Но судьба Поэта диктовала именно этот сюжет.*

*...Остывала ли детская влюбленность Цветаевой, или то была дань гордыне, но одно из осенних писем к Юркевичу говорит о том, что ее чувства обращены к другому. К ушедшей тени герцога Рейхштадтского, несчастного сына Наполеона. (В это время, как вспоминает А. Цветаева, Марина уже переводит пьесу Э. Ростана “Орленок”.) “...умерла бы за встречу с ним с восторгом, а за встречу с Вами — нет”, — наивно пишет она.*

*А единственное сохранившееся письмо Цветаевой лета 1910 года уже совсем иное — светлое и дружественное. И, что самое главное, оно свидетельствует об исцелении юной Марины Цветаевой от “революционной болезни”. “Природа и книги — выше и ярче нет ничего”. Они, а не революция дают “сладкую способность вечно волноваться”.*

*Так рос Поэт.*

*А. А. СААКЯНЦ.*

Публикуемые ниже письма и стихотворение Марины Ивановны Цветаевой к Петру Ивановичу Юркевичу 1908 — 1910 годов\* — часть сохранившейся переписки между ними 1908 — 1916 годов. Другая ее часть была напечатана ранее в альманахе “Минувшее”\*\* (Публ. Е. И. Лубянниковой, Л. А. Мнухина. Вып. 11. Paris. “Atheneum”. 1991, стр. 335 — 360; М. — СПб. “Atheneum”. “Феникс”. 1992, стр. 335 — 360).

Несколько слов об адресате писем.

Петр Иванович Юркевич (1889 — 1968) родился в семье известного московского педагога и ученого-географа И. В. Юркевича (1854 — 1920). В молодости Иван Викентьевич был приглашен домашним учителем в семью С. И. Мамонтова, в пору расцвета абрамцевского художественного кружка. Прочные узы связывали И. В. Юркевича с художественной интеллигенцией и в последующие годы. Посвятив всю свою жизнь педагогике, он много сил и времени отдал воспитанию и собственных детей, оказывая большое влияние на них своим авторитетом. Обаяние его незаурядной личности передают два портрета абрамцевского периода работы И. Е. Репина (масло, 1879, музей “Абрамцево”) и В. А. Серова (карандаш, 1879, музей “Абрамцево”). (Подробнее об И. В. Юркевиче см.: Москвинов В. Н. Новые материалы о И. Е. Репине. — В кн.: “Сообщения института истории искусств. Живопись. Скульптура. Графика”. М. Изд. АН СССР. 1960. № 13-14, стр. 89 — 103).

Старший брат П. И. Юркевича, Владимир Иванович (1885 — 1964), — всемирно известный корабельный инженер, создатель французского суперлайнера “Нормандия”, завоевавшего в 1935 году “Голубую ленту” Атлантики. В годы публикуемой переписки В. И. Юркевич — студент кораблестроительного отделения Санкт-Петербургского Политехнического института (1903 — 1909), затем молодой балтийский судостроитель.

Будучи младшим сыном в семье, П. Юркевич рос как бы в тени своих старших братьев, находясь под их постоянной опекой. В 1907 году он — серебряный медалист 4-й московской мужской гимназии. В том же году он поступает на медицинский факультет Московского университета, испытывая, однако, колебания между медициной и филологией. Отдав ненадолго все же предпочтение последней, он под влиянием среднего брата, студента-медика, снова возвращается на медицинский факультет, который оканчивает в 1913 году со степенью лекаря. В 1914 — 1915 годах П. И. Юркевич в качестве корабельного врача совершает длительное путешествие на борту торгового судна. По возвращении в Москву он попадает на фронт первой мировой войны, где специализируется в области военной терапии. Затем принимает участие в гражданской войне. Демобилизовавшись из Красной Армии в 1920 году, он поступает на работу в Благушинскую городскую больницу (ныне городская больница № 36), где работает всю свою жизнь, пройдя путь от ординатора до главного врача. В годы второй мировой войны служит на Южном и Карельском фронтах, заканчивает войну в Корее; награжден орденами и медалями. В 1947 году удостоен звания заслуженного врача РСФСР, в 1953 году избирается ученым секретарем Московского терапевтического общества.

В настоящее время автографы публикуемых писем и стихотворений находятся в архиве дочери адресата — О. П. Юркевич. Письма 1, 3 и 4 написаны карандашом, 8 — синими чернилами, все остальные — черными чернилами; письмо 11 — на бланке Музея изящных искусств им. Императора Александра III. Сохранился единственный конверт, с адресом, надписанным сначала карандашом, а затем обведенным черными чернилами: Разъезд “Толстое” / Данково-Смоленской ж<елезной> д<ороги> / Имение Орловка / Его Высокоблагородию / Петру Ивановичу Юркевичу. На конверте имеется почтовый штемпель: Таруса Калуж<ской губернии>, 1.8.08. Этот конверт, судя по формату и дате почтового штемпеля, соответствует письму 7. Тексты печатаются по оригиналам в соответствии с новой орфографией, особенности пунктуации по возможности сохранены.

Авторы примечаний выражают искреннюю признательность О. П. Юркевич, а также племянницам адресата Е. С. Липеровской и М. С. Бессмертной за предоставленные сведения и материалы, касающиеся его семьи.

Список сокращений, используемых в примечаниях:

*АИЦ-3* — Цветаева А. Воспоминания. Изд. 3-е, доп. М. “Советский писатель”. 1983.

*Воспоминания* — “Воспоминания о Марине Цветаевой”. Сост. Л. А. Мнухин, Л. М. Турчинский. М. “Советский писатель”. 1992.

*Минувшее* — “Минувшее. Исторический альманах”. Вып. 11. Paris. “Atheneum”. 1991; М. — СПб. “Atheneum”. “Феникс”, 1992.

*Е. И. ЛУБЯННИКОВА, Л. А. МНУХИН.*

**1**

<21 июля 1908 г., Орловка>1

*На 18-ое июля*

Когда твердишь: “Жизнь — скука, надо с ней  
Кончать, спасаясь от тоски”,  
Нет ничего светлей и радостней  
Пожатья дружеской руки.  
Душа куда-то ввысь возносится,  
Туда, где ярок солнца свет,  
И в сердце тихо произносится  
Молчаньем скрепленный обет.  
Не будем строгими и зрелыми,  
Пусть мы безумны, ну т<а>к что ж!  
Мы знаем, правда только с смелыми,  
А всё другое только ложь.  
Пусть скажут: “Только безрассудные  
Поверят дружеским словам”,  
За светлый луч в минуту трудную  
От всей души спасибо Вам.  
И вот теперь скажу уверенно  
(Я знаю, между нами — нить):  
“О нет, не всё еще потеряно,  
И есть исход и можно жить!” —

Не вообразите о себе слишком многого, избалованный2 Понтик! —

Написано в “веселом” настроении 21-го июля 1908 (после езды на конях)3.

[Сложенный втрое лист надписан рукой Цветаевой:]

Вечерняя почта из Горбачева4

“Понтику” (своеобразному пойнтеру, не вошедшему в возраст).

1 Данное послание, как и стихотворение, датируется днем отъезда Цветаевой из Орловки (см. письмо от 13 августа 1908 года — *Минувшее,* стр. 343; примеч. 4).

2 Это ироническое обращение к адресату, возможно, вызвано отзывом о нем С. Юркевич (см. письмо 3).

3 Цветаева вспоминает о верховой езде с Юркевичем в письме от 21 июля 1916 года (см.: *Минувшее,* стр. 346).

4 Горбачево — Вероятнее всего, именно в Горбачево при прощании Цветаева и передала стихи адресату, из рук в руки.

**2**

<22 июля 1908 г., Таруса>

Говорила я Вам, Понтик, что буду писать по два раза в день1.

Сегодня получила письмо от Сережи2.

Представьте себе, в каких обстоятельствах он вспомнил меня: оркестр в японском театре заиграл Хиавату3, и он, конечно, не мог меня не вспомнить.

Не могу сказать, чтобы я была очень польщена этим обстоятельством4.

Сейчас особенно темно на душе. Ася5 с Андреем6 уехали в гости с ночевкой, я одна с француженкой7. Ворчит-поварчивает на столе самовар, темная, совсем осенняя ночь обступила стены дома и старается проникнуть в него через черные стекла.

У меня был сегодня странный разговор, после к<оторо>го я ник<а>к не могу прийти в себя.

Странный субъект — этот мой знакомый8. Он не сильный, я его страшно боюсь. Боюсь его и иду к нему, потому что не могу не идти.

Он холодный, мертвый. Увидит светлую точку и мгновенно загасит ее. Зажечь он ничего не может. Вся жизнь его полна призраков.

Сегодня он мне сказал такую вещь:

— “К<а>к прекрасно иметь в себе огонь и тушить его!”9 — Я долго над этим думала. Что можно ответить на такую вещь?10

К чему гасить огонь? Гасить его не надо. А к чему разжигать? Человек может погибнуть, если огонь вспыхнет в нем слишком сильно. Горение могут вынести только немногие избранные. Я лично говорю: надо всегда разжигать костер в сердце прохожих, только искру бросить, огонь уж сам разгорится.

Лучше мученья, огненные, яркие, чем мирное тленье. Но к<а>к убедить людей, что гореть надо, а не тлеть. Они потребуют моментально гарантию, расписку в счастье.

Всё сводится к риску и дерзости. Только они спасут людей от спячки.

Дерзость мысли, чувства, слова! Говорить, не боясь преград, идти смело, никому не отдавая отчета, куда и зачем, влечь за собой толпу...

Это чудно! Но... если не горенье нужно, а замерзание! Вот Брюсов11, — забрался на гору, на самую вершину (по его мнению) творчества и, борясь с огнем в своей груди, медленно холодеет и обращается в мраморную статую.

Разве замерзание не т<а>к же могуче и прекрасно, к<а>к сгорание? Милый Понтик, глядя [на] всё это с медицинской точки зрения, Вы скажете, что это всё сплошная отвлеченность, что природа не считается с капризами отдельных личностей и пр<очее>.

Но Вы мне тем-то и нравитесь, что в Вас эстетик сильнее врача, а то бы я не стала Вам писать всего этого.

Вы, м<ожет> б<ыть>, помните мои стихи “В монастыре”12, к<отор>ые показывала Вам Соня13? Они написаны под впечатлением разговора с этим странным знакомым.

В нем есть что-то каменное и холодное. Когда я поговорю с ним, всё светлое, красивое, смелое исчезает и дает место какому-то кошмарному бреду, полному диких ужасов и страшных картин.

Во время разговора с Вами я чувствовала себя т<а>к ясно, т<а>к хорошо. Вообще я очень отдохнула в Орловке14. А теперь всё смято, беспорядочно, сумбурно. В голове бродят какие-то отрывки мыслей. Ничего не могу обобщить. Связь к<а>к-то утерялась.

Порой мне бывает страшно и откуда-то со дна всплывает что-то темное. Мне кажется, что это начало сумасшествия. Впрочем, это шаблонно — все т<а>к говорят и никто не сходит с ума.

Прочтите это письмо еще раз вечером, если хотите меня понять.

О, Петя, к<а>к тяжело жить одной. Я боюсь одиночества и своей тоски. Бегу ко всем, лишь бы забыться. К<а>к бы мне хотелось быть сейчас в столовой и слушать “Два гренадера”15. Вижу отсюда, к<а>к Соня полулежит на диване, а Вы вкладываете валик и приговариваете:

— “Ах ты черт, странно, что ж это он не лезет?” —

Глажу Вас против шерстки.

Лапу, товарищ!

МЦ.

22-го июля 1908

1 Первое письмо от 22 июля 1908 года было написано утром (см.: *Минувшее,* стр. 337 — 339).

2 Сережа — Юркевич Сергей Иванович (1888 — 1919), брат П. Юркевича. Окончил с золотой медалью Московскую 4-ю гимназию, в 1906 — 1912 годах — студент медицинского факультета Московского университета, затем — земский врач, в первую мировую войну был призван на фронт в качестве хирурга. Умер от сыпного тифа. Подробнее о нем см.: *Минувшее,* стр. 353 — 354.

Был первым взрослым гостем сестер Цветаевых в Трехпрудном переулке. Переписка М. Цветаевой с ним, начавшаяся в 1907 году, очевидно, не сохранилась. В упомянутый период С. Юркевич, по-видимому, находился на летней практике.

3 Хиавата. — Можно предположить, допуская возможность различного транскрибирования английских слов, что речь идет об опере (или об увертюре к ней) чешского композитора Антонина Дворжака (1841 — 1904) “Hiawatha” (1892 — 1895), созданной по поэме американского поэта Генри У. Лонгфелло (1807 — 1882) “The Song of Hiawatha” (1855). Не исключено также, что речь может идти о симфонии Дворжака “Из Нового Света”, № 5 (1893), связанной отчасти с “Песней о Гайавате” (программной основой второй части симфонии является сцена похорон Миннегаги — подруги Гайаваты).

4 Установить в точности источник этой аллюзии не представляется возможным. Рискнем, однако, указать на вероятную связь между цветаевской мотивировкой прошлогодней ссоры с ней С. Юркевича (см. письмо 4) и образом Гайаваты — пророка, учителя. Ср. такие строки поэмы:

И придет Пророк на землю  
И укажет путь к спасенью;  
Он наставником вам будет,  
Будет жить, трудиться с вами.  
Всем его советам мудрым  
Вы должны внимать покорно...

(Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. Пер. И. А. Бунина. СПб. Изд. Т-ва “Знание”. 1903, стр. 10 — 11). Поэма к тому времени была хорошо известна в России; полный ее перевод был осуществлен И. А. Буниным в 1896 — 1903 годах. В других переводах выходила под названиями “Песнь о Гиавате” и “Гайавата”.

5 Ася — Цветаева Анастасия Ивановна (в замуж. Трухачева; 1894 — 1993), младшая сестра М. Цветаевой, в то время училась в гимназии В. В. Потоцкой (в 1908 году перешла в 4-й класс); впоследствии писательница, мемуаристка.

6 Андрей — Цветаев Андрей Иванович (1890 — 1933), сводный брат М. Цветаевой. Учился в Московской 7-й гимназии (в 1908 году перешел в 8-й выпускной класс), в 1909 — 1916 годах — студент юридического факультета Московского университета; впоследствии оставил юриспруденцию, работал в Госторге экспертом по картинам.

7 Неясно, о ком идет речь. Французская девочка Анна Ажерон, согласно воспоминаниям А. И. Цветаевой, гостила в Тарусе летом 1907 года (см.: *АИЦ-3,* стр. 235 — 242). Вместе с тем никаких гувернанток после смерти матери (в 1906 году) у сестер Цветаевых не было. Данное выражение вряд ли приложимо и к жившей в Тарусе вдове их деда — С. Д. Мейн, швейцарке по происхождению. См. также примеч. 6 к письму 4.

8 Вероятнее всего, имеется в виду Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888 — 1946) — будущий писатель; в 1906 — 1912 годах — студент философского отделения историко-филологического факультета Московского университета (ученик И. В. Цветаева), в 1921 — 1924 годах — директор Государственного Румянцевского музея.

Знакомый сестер Цветаевых по Тарусе и Москве, увлекался младшей из них. В 1907 году началась дружба М. Цветаевой с его сестрой Ниной (см. обращенные к ней стихотворения “Нине” и “„Прости” Нине” в сб. “Вечерний альбом” и “Волшебный фонарь”). Выведен впоследствии М. Цветаевой в очерке “Жених” (1933). Период, о котором идет речь, для Виноградова — время мучительных религиозных исканий. (См. об этом: “А. К. Виноградов у Льва Толстого”. Публ. Ст. Айдиняна. — “Новый мир”, 1994, № 8, стр. 214 — 221).

9 Ср. фрагмент записи А. К. Виноградова 1909 года о Д. С. Мережковском: “Великой волей своей он себя держит и не позволяет пролиться этому огню” (РГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, ед. хр. 296, зап. кн. 2, стр. 57). Указано Ст. А. Айдиняном.

10 Этот “вечный” вопрос продолжал волновать Цветаеву и годы спустя. С поисками ответа на него связана одна из важнейших тем ее творчества — “победы путем отказа” (слова С. М. Волконского), наиболее ярко выраженной в стихотворении “Прокрасться...” (1923). См. также поздние размышления Цветаевой на эту тему в лирическом эссе “Письмо к Амазонке” (1932, 1934): “Уметь все сказать — и не разжать губ. Все уметь дать — и не разжать руки. Это отказ, который <...> является главной движущей силой моих поступков. Силой? — Отказ? Да, потому что подавление энергии требует бесконечно большего усилия, чем ее свободное проявление — для которого вообще не нужно усилий. <...> Что трудней — сдержать лошадь или пустить ее вскачь? И — поскольку лошадь, которую мы сдерживаем, — мы сами — что мучительней: держать себя в узде или разнуздать свои силы?” (перевод с франц. К. М. Азадовского. — “Звезда”, 1990, № 2, стр. 183).

11 Брюсов Валерий Яковлевич (1873 — 1924) — поэт, критик, основоположник русского символизма. Цветаева увлекалась поэзией Брюсова в юности. Адресат ее письма 1910 года, а также двух стихотворений в сб. “Волшебный фонарь” и “Из двух книг”. Ему посвящена цветаевская проза “Волшебство в стихах Брюсова” (1910?) и “Герой труда” (1925).

12 Об этом стихотворении Цветаевой нам ничего не известно. Позднее к “монастырской” теме она обратилась в стихотворении “А всему предпочла...” (1918).

13 Соня — Юркевич Софья Ивановна (в замуж. Липеровская; 1892 — 1973), младшая сестра Юркевича, подруга Цветаевой по гимназии им. В. П. фон Дервиз, которую окончила с золотой медалью в 1908 году, продолжив затем обучение в 8-м педагогическом классе. Впоследствии педагог, писательница, автор воспоминаний о Цветаевой (см.: *Воспоминания,* стр. 31 — 41). Подробнее см.: *Минувшее,* стр. 351.

14 Орловка — имение Юркевичей в Чернском уезде, Тульской губернии (ст. Скуратово), находилось неподалеку от тургеневских и толстовских мест; принадлежало Александре Николаевне (урожд. Иванской; 1865 — 1934) — матери адресата. Орловка славилась открытостью дома, гостеприимством хозяев, обстановкой высококультурного интеллигентного быта, многие элементы которого строились И. В. Юркевичем по абрамцевским образцам. В доме было много музыки, молодежи (одно время там был устроен гимназический пансион), игр, веселья, привлекала верховая езда, при этом “высокая поэзия” совмещалась с сельскохозяйственными работами в поле и на усадьбе.

15 “Два гренадера” — баллада немецкого композитора Роберта Шумана (1810 — 1856) на стихи Генриха Гейне (1797 — 1856) “Die beiden Grenadiere”; русский текст принадлежит М. Л. Михайлову (1829 — 1865). Была особенно любима Ф. И. Шаляпиным, и вполне допустимо, что речь идет о граммофонной записи его исполнения.

**3**

<23 июля 1908 г., Таруса>1

Вы, Понтик, пожалуйста, не воображайте, впрочем, Вы такой умный, что ничего и не вообразите.

Передо мной лежит раскрытая химия2 и ехидно улыбается.

Знаете что? Устроим зимой кружок, хотя бы литературный с рефератами по поводу прочитанного и прочим. К этому я стремлюсь из чувства самосохранения: с другими тоска не т<а>к страшна, да [и] приятно (хотя слово “приятно” сюда не годится) обмениваться мнениями насчет прочитанного и таким образом проверить стойкость и верность своих убеждений. К<а>к Вы думаете на этот счет? У Вас, верно, есть кто-нибудь, кто бы пожелал участвовать?

Оказывается, что экзамен мой будет числа 28-го сент<ября> месяца3, т<а>к что я напрасно не осталась у Вас, чтобы ехать в Соковнино4. Ругаю себя, но от этого ничего не меняется.

Погода у нас беспросветная.

“Дождь и холод, грязь и слякоть,  
Светлых точек нить\*,  
Небо хочет нас оплакать  
И похоронить...”5

Все тарусские находят, что я загорела, к<а>к цыганка. Здесь — всё лес и лес, даже странно с непривычки и грустно без открытого горизонта тульских широких полей.

Кто-то теперь без меня ласкает Буяна6?

Да, Петя, пожалуйста, составьте мне список Ваших достопримечательностей (не лично Ваших, хотя, если хотите, и этот), а то я было начала перечислять и запнулась на Чермашне и Мокром7.

Папа8 очень доволен, что я побывала у Вас, и, кажется, ничего не имеет против меня еще когда-нибудь отпустить к Вам.

Соня на меня не дуется, не знаете? Мы ведь с ней порядочно грызлись.

Завтра беру первый урок по алгебре, — перспектива не из приятных.

Химию начну сегодня же, по крайней мере надеюсь начать.

К<а>к я только приехала, Ася тотчас же начала изводить меня, впрочем, очень дружелюбно. Она представляла, к<а>к я в очках, согнувшись в 3 погибели, прицепилась к лошади и к<а>к последняя, тоже скрючившись, лениво двигается.

Слушайте, Понтик, Вы ничего не имеете против того, чтобы осенью познакомиться с одной нашей знакомой зубоврачихой9 — разочарованной барыней слегка в декадентском вкусе.

У нее всегда бывает много народа, иногда интересного.

Нас с Асей она, не знаю за что, очень любит и всегда рада всем нашим знакомым и друзьям. Ее гостиную я зову “зверинцем”, уж очень разнообразные звери там бывают.

Не ручаюсь, что это общество Вам понравится, но посмотреть стоит. К<а>к полная противоположность ей — у меня есть одна знакомая эсдечка, смелая, чуткая, умная, настоящая искорка10.

В ее присутствии всем делается светло и радостно на душе, уж очень она сердечный и искренний человек.

Посмотрите, Петя, познакомитесь — влюбитесь, да мимо нее нельзя пройти равнодушно.

В свою очередь погляжу на Ваших знакомых, т<а>к к<а>к, судя по Вашим рассказам, есть среди них интересные. Соня мне говорила, что Вы очень избалованы всеми.

Это правда?

Трогательно: отсылаю одновременно письма всем троим: Сереже, Вам и Соне. Не хватало бы еще письма Володе11. Кстати, когда будете ему писать, напишите, что ему надо еще много практиковаться, прежде чем определять верно по почерку характер человека.

Впрочем, задатки у него есть, и Бог знает, м<ожет> б<ыть>, он прославится не к<а>к инженер, а к<а>к определитель людей по почерку.

К<а>к он узнал, что я близорукая? Это интересно.

Сердечно завидую Вам: 24-го или 25-го будете слушать музыку12, а я, м<ожет> б<ыть>, в это же время буду учить, к<а>к “кристаллы падают, т<а>к вообще”...

Папа окончательно велел нам бросить с Асей наши фуражки13. Он купил нам красные береты с перьями, к<а>к носили средневековые пажи. Представляю себе удивленные лица всех Ваших соседей, если б они их увидели.

Пока всего хорошего.

Пишите.

Ваша МЦ.

1 Письмо датируется по упоминанию в нем о концерте в Соковнино.

2 Цветаевой предстояла сдача экзаменов по алгебре и химии при поступлении в 6-й класс гимназии М. Г. Брюхоненко, где она проучилась до зимы 1910 — 1911 годов, уйдя из 8-го педагогического класса.

3 Известие об изменении срока экзамена привез, судя по всему, И. В. Цветаев. В дальнейшем этот срок снова изменился.

4 Соковнино — село Чернского уезда, Тульской губернии, расположенное на оживленной торговой дороге, в 20-ти верстах от Орловки. Там находилось имение тетки Юркевича по материнской линии, Анны Николаевны Бодиско; возможно, туда и собирались отправиться Юркевичи на музыкальный концерт.

5 Цветаева приводит первую строфу стихотворения без названия из книги революционного поэта Евгения Михайловича Тарасова (1882 — 1946) “Земные дали. Вторая книга стихов” (СПб. “Шиповник”. 1908, стр. 38). В “Ответе на анкету” (1926) Цветаева поставила стихи Тарасова в ряд душевных событий своего отрочества. См. также письмо 4 и примеч. 14 к нему и письмо от 13 августа 1908 года и примеч. 5 к нему (*Минувшее,* стр. 341 — 342, 355 — 356).

6 Буян — кличка одной из собак в Орловке.

7 Чермашня и Мокрое — названия сел в романе Ф. М. Достоевского “Братья Карамазовы” (1879 — 1880). Судя по всему, обитатели Орловки непосредственно связывали эти литературные упоминания с расположенными неподалеку живописными селами Белевского уезда — Чермошны и Мокрое. Между тем первое из названий, использованных писателем, восходит к местам его детства — деревне Чермашня (Чермошня, Черемошино) Каширского уезда, приобретенной в 1832 году его родителями. Второй топонимический источник вовсе не имеет отношения к Тульской губернии.

8 Папа — Цветаев Иван Владимирович (1847 — 1913), отец Цветаевой, известный филолог и историк искусств; заслуженный профессор Московского университета, директор Румянцевского музея, основатель и первый директор (с 1911 года) Музея изящных искусств в Москве.

9 Речь идет о Лидии Александровне Тамбурер (урожд. Гаврино; ок. 1872 — до 1937), друге семьи Цветаевых. Окончила Институт благородных девиц, с 1899 года занималась зубоврачебным делом; в те годы работала в гимназии им. И. и А. Медведниковых и вела частную практику. В первую зиму знакомства с ней сестер Цветаевых жила на Арбате, д. 19, кв. 2 (в доме Бромлей). В 1908 году ушла из семьи, порвав в мужем и матерью, и поселилась на Поварской, д. 10, кв. 6.

С Тамбурер непосредственно связаны ранние стихотворения М. Цветаевой “Последнее слово”, “Эпитафия”, “Сереже”, “Лучший союз” (сб. “Вечерний альбом”), “Жажда” (сб. “Волшебный фонарь”). В очерке “Лавровый венок” (1936) М. Цветаева вспоминала о Тамбурер: “Это — наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери, — Лидия Александровна Т., урожденная Гаврино, полуукраинка, полунеаполитанка — княжеской крови и романтической души” (Цветаева М. Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. М. “Художественная литература”. 1984, стр. 23). См. также *АИЦ-3,* стр. 256 — 258.

10 Эсдечка — социал-демократка. Сведениями об этом лице мы не располагаем. Возможно, это кто-то из революционных друзей сводной сестры Цветаевой.

11 Володя — Юркевич Владимир Иванович, брат адресата (см. предисловие). Нам неизвестно, была ли Цветаева знакома с ним в России и пересеклись ли их судьбы в Париже. В. И. Юркевичу и его триумфу посвящено множество публикаций в парижской периодике 1930-х годов. В частности, см.: Лукин А. F. Y. (Торжество русской идеи). — “Последние новости”, 1932, 19 октября, № 4259, стр. 2 — 3; [Б. п.] За “Голубым бантом”. — Там же, 1935, 18 мая, № 5168, стр. 3; [Б. п.] Чествование В. И. Юркевича. — Там же, 1935, 13 июля, № 5224, стр. 4; Днепров Р. У В. И. Юркевича. — “Возрождение”, 1935, 26 мая, № 3644, стр. 4. Биографическую справку о нем см.: Коваленский П. Е. Зарубежная Россия. Дополнительный выпуск. Paris. 1973, стр. 28 — 29.

12 См. примеч. 4.

13 “Фуражка с венчиком” запечатлена Цветаевой в стихотворении “Проснулась улица. Глядит усталая...”, датированном мартом 1908 года.

**4**

<28 июля 1908 г., Таруса>

Откровенность за откровенность, Понтик.

Хотите знать, какое впечатление у меня осталось от Вашего письма?1

Оно всецело выразилось в тех нескольких словах, к<отор>ые вырвались у меня невольно:

— “Какой чистый, какой смелый!” —

— “Кто? — спросила сидевшая тут же Ася и многозначительно прибавила, — да мне вовсе не интересно знать. Кто бы то ни был — всё равно разочаруешься!” —

— “Не беспокойся, этого не будет! — сказала я. — Давай пари держать, что через месяц, много 1 1/2 ты придешь ко мне и скажешь: „А знаешь, Ася, это не то, совсем не то””. —

— “Пари держать не хочу, всё равно проиграешь ты. Знаешь, повесь меня, если это не будет т<а>к!” —

— “Ладно!” — Ася подошла к стене и нарисовала виселицу с висящей мной.

— “Я тебе дюжину примеров приведу, — продолжала моя дорогая сестрица, — больше дюжины, считая только последние два года!” —

Действительно, пришлось нехотя признаться в том, что каждое “очарование” влекло за собой неминуемое “разочарование”.

А сколько их было! —

Но не о них я хотела говорить.

Ваш тип — тип смелого, чистого, самоотверженного борца сходит со сцены.

От Вас веет чем-то давно прошедшим, милым, светлым.

В Вас есть свойство, почти исчезнувшее, — энтузиазм, любовь к мечте.

А это много, скажу больше — это почти всё! Энтузиазм, стремление вверх, к звездам, прочь от пошлой скуки, жажда простора и подвига — вот что движет жизнь вперед, делает ее сверкающей, сказочной. А жизнь должна быть сказкой... по смыслу (по форме это редко удается). Только не детской веселой сказочкой с опасностью в виде бабы яги посредине и благополучным концом (в виде национального гимна и Тасенек2), а такой сказкой, чтобы дух захватывало, когда ее станешь читать или, вернее, когда “наши внуки” станут ее слушать.

Я люблю граненые стекла3 и в детстве была способна по целым часам их рассматривать, не скучая. Пусть наша жизнь будет к<а>к граненые стекла, — на меньшем мириться нельзя. Моему понятию о жизни всецело соответствует следующее стихотворение Максима Горького, писанное им, когда он еще не был правоверным марксистом.

*Песня о Марко*4

В лесу над рекой жила фея,  
В реке она часто купалась,  
Но раз, позабыв осторожность,  
В рыбацкие сети попалась.  
Ее рыбаки испугались,  
Но был с ними юноша Марко.  
Схватил он красавицу-фею  
И стал целовать ее жарко.  
А фея, к<а>к гибкая ветка,  
В могучих руках извивалась  
И в Марковы очи глядела  
И тихо чему-то смеялась.  
Весь день она Марко ласкала,  
А к<а>к только ночь наступила,  
Пропала веселая фея...  
У Марко душа загрустила.

И день ходит Марко, и ночи  
В лесу над рекой, над Дунаем,  
Всё ищет, всё стонет — “Где фея?” —  
А волны смеются: “Не знаем!” —  
Но он закричал им — “Вы лжете,  
Вы сами играете с нею!”...  
И кинулся юноша глупый —  
В Дунай, чтоб найти свою фею... —  
Купается фея в Дунае,  
К<а>к прежде до Марко купалась,  
А Марко уж нету, но всё же  
О Марко хоть *песня* осталась!  
А вы на земле проживете,  
К<а>к черви слепые живут, —  
Ни сказок про вас не расскажут,  
Ни песен про вас не споют.

Конечно, если смотреть на всю эту историю с точки зрения “пользы” и “результатов” — получится бессмыслица. К чему Марко бросился в реку? Наконец, не лучше ли ему было остаться на берегу за чисткой рыбы и бросить мысли о промелькнувшей в его жизни сказке — фее.

Такая идиллия: чистил бы Марко свою рыбу или возил бы ее в соседний город, откуда возвращался бы навеселе, а на следующий день снова закидывал свои сети, и т<а>к всю жизнь.

Но случилось нечто странное: увидев фею, Марко вдруг понял, что Дунай лучше жизни с продажей рыбы.

Он сгорел за свою мечту, за свой порыв. Именно т<а>к я понимаю революцию — не к<а>к средство наполнения голодных желудков, а к<а>к горение за мечту, м<ожет> б<ыть>, такую же призрачную и обманчивую, к<а>к дунайская фея.

В этом мы, наверное, с Вами разойдемся. Вы говорите: отдать жизнь за счастье других. Я скажу: отдать жизнь за мечту (к<отор>ая, может быть, причинит людям вред, впрочем, в моем случае и в Вашем это не т<а>к).

Сейчас душно, — собирается гроза, и поэтому к<а>к-то не пишется.

Вернулась сейчас с купанья, во время к<оторо>го произошла следующая сценка. Когда мы пришли на берег — там сидел один маленький мальчишка с коровой и теленком. Мы пообещали ему стеречь корову, если он уйдет. В самый разгар купанья корова и теленок, накупавшись вдоволь, ушли на луг. Вскоре послышался рев пастушонка, к<отор>ый околачивался где-то поблизости.

— “К<а>к, ты здесь, Лялька, ты не ушел? — крикнула Ася, обрадовавшись предлогу избавиться от коровы и теленка, — ты обещал уйти, а сам не уходишь, вот теперь загоняй их сам!” —

Рев еще более усилился.

— “Да, Лялька! — поддержала я, — и не воображай, что мы будем их загонять!” —

Рев перешел в нечто еще более сильное, чему названия я не знаю.

— “Загоняй сам!” — радостно вопили мы из воды. Вдруг среди рева послышалось нечто похожее на слова.

— “Что?” — переспросили мы.

— “ -ё-ё-ёнка!” — донеслось с горки.

— “Что?” —

— “Тейё-ё-ёнка-а-а!” —

— “Да что?” —

— “Я койову, а вы тейе-ёнка!” —

На том и порешили. Лялька с ревом загнал корову, а теленка, к<отор>ый был рядом с ней, оставил для нас. Простите за такую ерунду, просто очень уж смешно было, а Вам, наверное, со стороны просто странно. Вчера вечером я вышла побродить в поле. У нас полей мало, всё больше лес. Ну вот бродила я меж желтой рожью, садилось солнце — и край неба был огненно-красный, переходящий в золотой. Приближающаяся темнота, бледный месяц, голубоватая даль — всё это настраивало к грусти. Я думала над тем, почему люди т<а>к одиноки. Ведь это ужас, подумайте, это проклятие. И ведь никогда люди, даже самые, самые близкие, не могут знать, что происходит в душе друг у друга. Счастлив тот, кто не гонится за тем, чтобы понять. Вот я говорю с Вами (это я т<а>к для примера беру) и никогда не знаю, серьезно ли Вы говорите или шутя, не могу поручиться за то, что Вы понимаете мое настроение...

Ну вот, я думала т<а>к и медленно шла, глядя на тоскливую даль. [Зачеркнуто.] И к<а>к-то сразу сделалось холодно и захотелось домой.

Небо совсем померкло, а при свете луны поля сделались какие-то странные, грезящие, холодные.

Вся оторванность человека от природы вдруг ярко стала мне понятна. И вышло т<а>к: люди — чужие, природа — чужая, далекая.

И грустно-грустно было возвращаться по лесу домой, где кроме химии и алгебры никто не ждет.

Вы будете виноваты, если я провалюсь по обоим предметам, т<а>к и скажу.

— “Это Петя виноват, я хотела учиться!”—

— “Какой Петя?” — удивленно спросит педагог.

— “А такой, Понтик! — сквозь слезы отвечу я и для пояснения прибавлю, — черный!”—

На педагогическом совете будет разбираться вопрос о причине неуспешности экзамена г<оспо>жи Ц<ветаевой>.

— “Мое мнение, — проворчит нечто вроде Степаненки5, — что она во сне увидела какого-нибудь арапа, Петю...” —

— “Почему же Петю, а не Колю?” — тоненьким голоском спросит учитель алгебры.

— “Это всегда т<а>к во сне! — скажет начальница, — думаешь про Колю, а увидишь Петю”.

— “И т<а>к испугалась, что ничего не сумела сказать”, — докончит “нечто”.

— “Черный... Гм... Это не антихрист ли? — глубокомысленно изречет батюшка, — оно иногда того...” —

— “Именно, именно, анархист! — тоненьким голосом поддержит “алгебра”, — а за знакомство с анархистом”...

— “Антихристом!” — поправит батюшка.

— “Да, да, я т<а>к и сказал. Ит<а>к, за знакомство с недозволенными лицами мы г<оспо>же Ц<ветаевой> поставим 0”. —

— “Для искоренения злонравия”, — буркнет “нечто”.

— “Для возвращения заблудшей овцы на путь истинный!” — пробасит молчавшая “химия”.

Ит<а>к, Вы и анархист и антихрист, а по-настоящему милый черный пойнтер. К<а>к у нас красиво! Я часто ужасно жалею, что Вас здесь нет. Такая широкая спокойная река, отражающая все настроения неба, заглохшие дороги, заливные луга, горы Вам бы, верно, здесь очень понравились. Почему я не могу Вас пригласить вместо Сони?6 Сижу на своей вышке7, где провожу почти весь день. Видна голубая вдумчивая река, нежно-зеленые, трепетные березы, в к<отор>ых я в детстве по близорукости и сильно развитой фантазии видала рыцарей и волшебников с длинными бородами. Вы когда-нибудь обращали внимание на красоту дыма. Он т<а>к хорошо умирает наверху, в голубом небе!

Недавно я написала стихи, конч<ающиеся> т<а>к:

[Зачеркнуто.]

Не смущайтеся, люди, исканьями правды напрасными,  
Будьте дети, идите к тому, что вас манит и радует,  
Только в смерти должны мы печальными быть и прекрасными,  
К<а>к те грустные листья, что падают, падают, падают...

Когда я получила Вашу закрытку, я ужасно удивилась и весь день ходила в очень странном настроении.

Мне даже одну минуту показалось, что Вы — нечто мной вымышленное, а не действительность.

Бывают такие дни, когда ходишь к<а>к во сне, мало замечая то, что происходит. Мой учитель по алгебре был страшно удивлен, вернее, недоволен тем, что я ник<а>к не могла понять, что такое разложение на множители и алгебр<аическое> деление. (Последнее, кстати, т<а>к и осталось непонятым мною, и опять Вы виноваты.)

Больше всего меня удивило в Вашей закрытке то выражение, что “и у меня” бывает хандра. Повторяю Вам, что тоска — мое обычное состояние, из к<оторо>го я на время вышла, благодаря Вам. Унизительно жить, не зная зачем. А вот что Вы, избалованный, хорошенький дамский кавалер, очаровательный “jeune homme”\* — и вдруг отрицаете саниновщину8 — это меня ужасно удивило и обрадовало.

Я Вас раньше ведь терпеть не могла (м<ожет> б<ыть>, это т<а>к будет, не ручаюсь за себя дольше сегодняшнего дня, и то много!), всё говорила Соне — “Ну, милая, и противный же твой Петя, вот антипатичный!”—

Я никого больше на свете не ненавижу, чем хорошеньких студентов, для к<отор>ых цель жизни “побеждать” всех, начиная с высокопоставленных дам и кончая горничными и др<угими> еще получше, а Вы мне казались именно таким типиком. И вот, когда я узнала от Сони, что Вы должны скоро приехать9, м<ожет> б<ыть>, уже приехали, мне сделалось очень неприятно, т<а>к к<а>к я не желала нарушать тишины Вашего дома и вместе с тем быть приветливой к “победителю”10 не могла. Я даже колебалась, ехать ли.

А что я немножко “щетинилась” вначале — естественно.

Во всяком случае, в настоящую минуту я к Вам отношусь очень хорошо, а что будет — не знаю, тогда увидим. Это и не т<а>к важно.

Потом когда-нибудь, в Москве, если будем друзьями, я Вас спрошу одну вещь, к<отор>ую мне бы хотелось знать. Только не в комнате. Где-нибудь на улице, вечером, а то я совсем не могу разговаривать, когда на меня смотрят11.

Теперь лунные ночи. Гуляете ли Вы? Давайте поедем на шарабане сегодня вечером. Никогда не забуду того тоскливого чувства одиночества, к<отор>ое охватило меня, когда поезд двинулся12.

Слушайте, пожалуйста, назовите Вашу первую дочь Мариной, ладно?

Часто ли Вам пишет Е(ва?)?13

Глажу Вас против шерстки и буду рада, когда она отрастет.

Писал ли Сережа? Насчет него я нахожусь в одном сомнении.

Я на Вас загадывала по одной книге, и вот что вышло:

“...И думы шептали: “Не ждите чудес,  
Жрецы Вам солгали, и Он не воскрес!”  
И долго с тревогой глядели в окно.  
Там не было Бога, там было темно”14.

Вы, наверное, очень мучились над религиозными вопросами?

Наверное, Соня очень рада, что я уехала. Устроила ли она Вам то, о чем я ее просила, или нет?

[Зачеркнуто.]

Пока всего Вам хорошего. Спасибо за хорошее письмо.

Написала много ерунды — не взыщите.

Исполнится ли Асино предсказание, — мне интересно. Пишите.

МЦ.

*Вечером 28-го июля 1908.*

Милый щененок Вы мой (не обижайтесь, что я Вас т<а>к зову, я очень люблю собак), к<а>к бы Вам объяснить получше, почему мне т<а>к трудно жить.

Видите ли, я сознаю свою полную непригодность для жизни15. Революция, к<а>к и всякий подъем, — только миг, а жизнь т<а>к длинна. Представьте себе, ведь не сразу же Вы из маленького мальчика с оскаленными постоянно для смеха зубами сделались большим и серьезным.

Это ведь всё сделалось день за днем, никаких скачков в Вашей жизни не было. Ведь вся жизнь — бесконечный ряд “сегодня”, “вчера” и “завтра”.

Чем заполнить жизнь? Ну, укажите мне что-нибудь такое, чем можно было жить всю жизнь.

Мне страшно хочется умереть рано, пока еще нет стремления вниз, на покой, на отдых.

Ну представьте себе такую встречу. Вы — почтенный учитель гимназии, отец семейства и пр<очее>. Я — сорокалетняя дама с солидным супругом. Очаровательно, не правда ли?

А самое худшее — это если мы оба не окончательно заснем и при встрече вспомним прошлое.

Подумайте, до чего легко свернуться\* с пути. Момент слабости, отчаяния, минутное увлечение — и расплата на всю жизнь.

Нужно быть вечно на страже, к<а>к бы не свихнуться.

Петя, Вы вот умный, смелый, чистый, скажите — чем нужно жить? Если жить чувством, порывом — какое право мы имеем тогда обвинять Санина? Делить порывы на добрые и злые слишком рассудочно и скучно. Выходит какая-то добродетель на постном масле. Выходит т<а>к: или постоянно следить за собой, держать себя в своих руках, или жить по голосу сердца, называя добрым то, что искренно, будь это хоть та же ненавистная саниновщина.

Я понимаю — быть одиноким ради чего-нибудь, ради какой-нибудь идеи. Но не имея ничего определенного, что бы заполняло всё существо, и быть одиноким — трудно.

На пути столько заманчивых станций, кажется, что только на минутку зайдешь отдохнуть, а там не хватит силы выбраться на настоящую дорогу, махнешь рукой и останешься.

Вот странно, я Вас т<а>к мало знаю и говорю с Вами т<а>к откровенно, к<а>к с немногими. М<ожет> б<ыть>, это потому, что я пишу вечером? Но начало письма писалось утром, при солнце.

Если Вы думаете, что я ломаюсь, — пожалуйста, напишите.

М<ожет> б<ыть>, Вы и сам ломаетесь, а совсем не я. Меня злость разбирает.

Мы едем с Вами в шарабане. Уже стемнело. Звезды. Налево небольшой лесок, кругом всё поле, ровное-ровное, к<а>к будущий строй.

Мне жаль, что я не знала Вас маленьким. Какой Вы были? Самолюбивый, с выдержкой, мне кажется. Отчего-то с Сережей нам никогда не удавалось поговорить к<а>к следует. Пробовали переписываться прошлым летом и рассорились. Сережа больно взъелся на меня за то, что я была причиной падения (на очень короткий срок) его авторитета в глазах Сони. Кстати, Соня прислала Асе “серьезное” письмо, полное “изречений”.

Будем ли мы видеться в Москве?

Ну, пора кончать, да и Вам пора спать. По-прежнему ли Вы спите целыми днями? Весело ли было в Соковнине? К<а>к сошел концерт?

Написала я Вам, кажется, много лишнего, но горе мое в том, что я всегда пересолю, — не умею остановиться вовремя.

Никогда бы не сказала, что буду писать такие длинные письма “избалованному мальчику”.

К<а>к хорошо, что мы не “благородно ретировались” друг перед другом, правда?

Напишите мне хорошенько обо всем.

Всего, всего лучшего.

МЦ.

1 Речь идет о первом ответном письме Юркевича.

2 Ср. “сценку” из будущей жизни Юркевича, описанную в письме от 22 июля 1908 года (*Минувшее,* стр. 399).

Тасенька — воображаемая дочь Юркевича.

В 1908 году торжественно отмечалось 75-летие русского национального гимна “Боже, Царя храни” (музыка А. Ф. Львова, слова В. А. Жуковского); официально он был введен в России в конце 1833 года вместо употреблявшегося в 1816 — 1833 годах английского гимна “God Save the King” композитора и поэта Г. Кэри (H. Carey).

3 След этого пристрастия (как и увлечения поэзией К. Д. Бальмонта) мы находим в таких ранних (неизвестных) строках М. Цветаевой:

В зеленой башне все было странно,  
Глядели окна так многогранно,  
Как будто взоры мильона глаз...

(записаны А. И. Цветаевой по памяти, датированы ею приблизительно зимой 1907 — 1908 годов).

4 Ранняя редакция стихотворения впервые опубликована в тексте сказки “О маленькой фее и чабане. Валашская сказка” (“Самарская газета”, 1896, 11 мая, № 98). Как самостоятельное произведение (редакция не позднее 1903 года) под заголовком “Легенда о Марко” вошло в изд.: Горький М. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике. Легенда о Марко. СПб. Изд. Т-ва “Знание”. 1906, стр. 8 (Дешевая б-ка Т-ва “Знание”. № 1); в дальнейшем при жизни автора не перепечатывалось. Текст стихотворения был положен на музыку А. Ф. Спендиаровым (“Рыбак и фея”. Баллада, 1903), С. Волковым-Давыдовым (“Рыбак и фея”. Мелодекламация, 1907), Базилевским (“Фея”, 1907), А. Туренковым (“Фея”, 1917). Цветаева, по всей видимости, цитирует стихотворение по памяти.

5 По-видимому, имеется в виду Николай Николаевич Степаненко — преподаватель Женской гимназии им. В. П. фон Дервиз, где обучалась Цветаева в 1906 — 1907 годах, и Московской 4-й мужской гимназии, которую окончили Юркевич и его братья.

6 Очевидно, речь идет о вторичном приглашении С. Юркевич в Тарусу, которое осталось нереализованным (см. настоящую переписку). Что касается первой поездки, то сведения о ее сроках разноречивы. Говоря о ней в своих воспоминаниях, С. И. Липеровская (Юркевич) указывает на лето 1907 года (см.: *Воспоминания,* стр. 37 — 39). А. И. Цветаева относит приезд С. Юркевич в Тарусу к лету 1908 года, а также оспаривает утверждение мемуаристки о том, что М. Цветаева принимала гостью в доме С. Д. Мейн, а не у себя на даче “Песочное” (см.: *АИЦ-3*, стр. 263). Возможно, с этим противоречием связана и отмеченная выше трудность в атрибуции одного из тарусских персонажей (см. письмо 2 и примеч. 7 к нему). В пользу 1907 года, как нам кажется, можно было бы трактовать эпизод ссоры М. Цветаевой с С. Юркевичем (см. настоящее письмо). Однако, с другой стороны, такие строки письма, как “когда я узнала от Сони, что Вы должны приехать [в Орловку], м<ожет> б<ыть>, уже приехали” (см. там же), легко принять за свидетельство пребывания С. Юркевич в Тарусе в 1908 году.

7 Подразумевается небольшая, левая, светелка на втором этаже тарусского дома Цветаевых. Аналогичную ей правую светелку занимала А. Цветаева.

8 Правильнее: “санинщина”, или “санинизм” — по имени главного героя натуралистического романа М. П. Арцыбашева (1878 — 1927) “Санин”. Роман впервые увидел свет в 1907 году (“Современный мир”, № 1 — 9); в 1908 году вышел двумя изданиями (Арцыбашев М. [Сочинения.] Т. 3. Санин. СПб.; 2-е изд. СПб. “Жизнь”). Был сразу же переведен на многие языки и вызвал ряд судебных процессов над автором в России и за границей. Увлечение Саниным и его проповедью аморализма было, по мнению М. Горького, “неоспоримым признаком интеллектуального банкротства” современной жизни (Горький М. Собр. соч. В 30-ти томах. Т. 24. М. ГИХЛ. 1953, стр. 48).

А. И. Цветаева в своих воспоминаниях отмечала “не наше увлечение молодежи книгами: Вербицкой “Историей одной жизни”, “Саниным” Арцыбашева (что “все позволено” между мужчиной и женщиной) и “Гневом Диониса” Нагродской (о том же). Это было — чужое” (*АИЦ-3,* стр. 310). См. также примеч. 11 к письму от 22 июля 1908 года (*Минувшее,* стр. 350).

9 Речь идет о приезде Юркевича в Орловку.

10 Образ “победителя” вызывал негативную реакцию и зрелой Цветаевой. Ср. ее письмо к Е. Б. Тагеру от 11 января 1940 года: “— Если Вы хоть немножко дорожите нашей дружбой, не делайте из меня чудовища, нечеловека, победителя — и т. д.” (копия из архива Е. И. Лубянниковой). Интересно отметить, что о собственной “победоносности” Цветаева говорила лишь однажды, см. ее письмо к А. В. Бахраху от 25 июля 1923 года: “Двадцати лет, великолепная и победоносная...” (“Литературное обозрение”, 1991, № 9, стр. 102).

11 Не отсюда ли берет начало цветаевская манера (к тому же близорукого человека) говорить не глядя на собеседника, которую впоследствии отмечали многие мемуаристы — В. Л. Андреева, О. Е. Колбасина-Чернова, М. Л. Слоним, Ю. П. Иваск (см.: *Воспоминания,* стр. 292, 306, 365, 430) и другие?

12 Речь идет об отъезде Цветаевой из Орловки. См. письмо от 22 июля 1908 года (*Минувшее,* стр. 337).

13 Здесь, вероятно, игра Цветаевой, восстанавливающей по инициалу имя корреспондентки Юркевича не без намека на библейский персонаж. Ср. ироническое упоминание “всяких Ев и тому подобных прелестей” в письме от 22 июля 1908 года (*Минувшее,* стр. 339).

14 Цветаева цитирует стихотворение “Бог” из сборника Е. М. Тарасова “Земные дали” (СПб. “Шиповник”. 1908, стр. 38), соединив воедино две строфы, 3-ю с конца и последнюю.

15 Эти слова стали лейтмотивом всей цветаевской жизни.

**5**

<Не позднее 31 июля 1908 г., Таруса>1

Никакой милости от Вас в виде “протянутой руки” и Ваших посещений я не желаю, и не думала даже рассчитывать на Вас, т<а>к что Ваши опасения оказались напрасными.

Помилуйте, рассчитывать на такого интересного молодого человека — да еще в Москве, к<отор>ая переполнена такими хорошенькими барышнями (даже в декадентском вкусе есть), — это мне даже в голову не приходило, а если и приходило — то на очень короткое время и теперь уж не придет, смею Вас в этом уверить.

Извиняюсь за те длинные сердечные излияния, к<оторы>ми утруждала Вас, жалею, что Вы с самого начала нашего знакомства не “указали мне мое место”.

Впрочем, винить здесь некого, т<а>к к<а>к я сама должна была бы его знать.

Очень благодарна Вам за перечисления знаменитостей, населяющих Тульскую губ<ернию>.

Забудьте эпизод нашего знакомства и не берите на себя труд мне отвечать.

М. Цветаева.

1 Письмо датируется по упоминанию о нем в письме 7.

**6**

<Между 18 и 24 августа 1908 г., Москва>1

Ну вот я и в Москве. Что-то странно после Тарусы: шум экипажей, фонари, толпа на улицах. Учу свою химию (25-го и 26-го экз<амены> по ней и по алгебре). В общем, рада, что в городе, хотя тех немногочисленных знакомых, с к<отор>ыми еще не рассорилась, еще не видала.

Спасибо Вам за письмо, Петя. Я хорошо понимаю Ваше тогда настроение. Такой фразы я бы, пожалуй, никогда не простила2. Вот и Вы простить-то простили, а уж, верно, забыть ее никогда не сможете.

Насчет моих стихов, о к<отор>ых писала, [зачеркнуто] присылаю Вам их3, [зачеркнуто]. Мне очень трудно теперь стало Вам писать, какое-то неуверенное чувство.

Рада буду повидать Вас в Москве. Здесь всё еще по-летнему: стук экипажей, зеленые деревья, пыль на улицах. Очень тянет в синематограф, такая подзадоривающая музыка4. Помните, к<а>к мы все ходили тогда весной. Я еще сказала Вам: “Если буду объясняться в любви — Вы не верьте. Весной я всякому готова!” —

Да, Понтик, Вам Соня давала читать мое последнее письмо? В нем нет ни слова правды, это мы с Асей Соню мистифицируем5. Только не выдавайте нас, прошу. А Вы поверили?

Соне я пишу, верней, писала в многочисленных письмах, что я влюблена в одного там типа. Сонечка аккуратно в каждом письме объясняла мне, что такое любовь, к<а>к надо любить и пр<очее>. Между прочим, от нее узнала Ваше мнение, что исход любви — брак. Это к<а>к-то с Вами не вяжется.

Сегодня папа разрыл мой дневник6 и прочел в нем наши проделки в Тарусе. Приходит весь взволнованный к моей старшей сестре Валерии7 и объявляет ей — “Представь себе, Марина влюблена в Мишу8” (это сын нашего сторожа, симпатичный мальчик). Валерия т<а>к и не могла разуверить его в этом. Ну, пускай думает.

Скучно дома. Всё какие-то толки, предостережения, намеки. (Папа начитался Санина и выражал Валерии опасение, к<а>к бы я не “вступила в гражд<анский> брак” с каким-нибудь гимназистом, каково?)

Кстати, что это Соня всё только и говорит что о браке, любви и пр<очем>. Которое письмо уж.

Ну, Петя, Вы не сердитесь, что пишу т<а>к неинтересно и мало. Я к<а>к останусь одна — т<а>к сейчас грусть.

Внешние неудачи, домашние скандалы, разные сплетни — ерунда, вот уж что меня не огорчает, а “вопросы”9 разные — мое горе. Хочется понять жизнь.

Какой Вы, Понтик, хороший, а еще ругались на меня за то, что я слишком много о Вас думаю.

Отчего люди т<а>к скрывают хорошие стороны?

До свидания, спасибо за славное, искреннее письмо. Не думайте, что я не оценила Вашего доверия.

Крепко жму Вам руку.

МЦ.

Когда будете в Москве?—

1 Датируется по упоминанию сроков отъезда Цветаевой из Тарусы (см. письмо от 13 августа 1908 года *— Минувшее,* стр. 342) и предстоящих экзаменов (см. настоящее письмо).

2 По всей видимости, Цветаева ссылается на фразу из письма 4, которое послужило причиной ее эпистолярной размолвки с адресатом.

3 Возможно, речь идет о стихотворении, упомянутом в письме от 13 августа 1908 года: “Написала одни стихи, — настроение и мысли в вагоне 21-го июля, когда я уехала из Орловки. Прислать?” (*Минувшее,* стр. 343). Текст этого стихотворения в семейном архиве адресата не обнаружен. Публикуемое нами отдельное стихотворение “Если слышишь ты в сердце малиновый звон...” не соответствует данному письму ни форматом автографа, ни тем более содержанием и тональностью (ср. начало письма от 22 июля 1908 года — *Минувшее,* стр. 337).

4 Ср. воспоминания А. И. Цветаевой: “Иногда — и все чаще — мы шли в синематограф. От картин тех лет в памяти — светлый туман. Каждый наш поход туда погружал нас в романтику, обогащал еще одной печалью, трагедией еще чьей-то судьбы” (*АИЦ-3,* стр. 270). Увлечение кинематографом сохранилось у М. И. Цветаевой на всю жизнь.

5 М. и А. Цветаевы были в те годы большие любительницы приключений, мистификаций, шутливых розыгрышей и т. п. О других мистификациях М. Цветаевой тех лет см.: *АИЦ-3,* стр. 238 — 240, 301 — 302; *Воспоминания,* стр. 18, 50.

6 О том, что Цветаева в те годы вела дневник, до сих пор было известно лишь из воспоминаний ее бывшей гимназической подруги В. К. Перегудовой (Генерозовой). Вот что она писала по этому поводу: “...дневник свой она [Цветаева] начала вести с самого раннего детства, когда она жила с матерью в Италии, в Нерви (Цветаевой было тогда 10 лет. — *Е. Л., Л. М.*). <...> Я перечитала тогда все толстые клеенчатые тетради (ее детские дневники), которые Марина постепенно перетаскала мне <...>. Меня поражало, когда я читала ее детские записи, как мог маленький ребенок так осмысленно, почти по-взрослому, описывать свою жизнь, то есть свои радости, горести, игры и шалости, обиды, наказания и прочие детские переживания. В основном же, как в дневниках (уже более старшего возраста), так и в своих письмах, Марина скупо описывала какие-нибудь события из своей жизни, а больше в них было размышлений и рассуждений на самые разнообразные темы” (*Воспоминания,* стр. 25).

Дневники Цветаевой времен ее отрочества и ранней юности не сохранились.

7 Валерия — Цветаева Валерия Ивановна (1883 — 1966), сводная сестра М. Цветаевой; автор “Записок”. В 1895 — 1900 годах обучалась в Екатерининском институте, затем на историко-филологическом факультете Московских высших женских курсов В. И. Герье, которые окончила в 1907 году. Проработав год учительницей гимназии в Козлове, вернулась в Москву, где с осени 1908 года преподавала в частной гимназии Е. Б. Грановской. В 1918 году — инструктор внешкольного образования ЦЕПУТЬКУЛЬТА, в 1919 году — сотрудник музейного фонда РСФСР. В 1920 году организовала и до 1932 года руководила Государственными курсами “Искусство движения”. Последние годы жизни провела в Тарусе.

8 Миша — Монахов Михаил Семенович (1890 — ?), сын сторожа тарусской богадельни и расположенной рядом с ней цветаевской дачи “Песочное”. О его семье и дружбе с ним сестер Цветаевых см.: *АИЦ-3,* стр. 238 — 240, 263 — 264. Выведен “рыцарем” младшей сестры в посвященном ей стихотворении М. Цветаевой “Лесное царство” (Таруса, 1908, сб. “Вечерний альбом”). Дружба эта оборвалась по причине переезда семьи Монаховых в Серпухов после лета 1908 года.

9 В письме от 13 августа 1908 года Цветаева писала: “А “больные” вопросы, Вы правы, теперь не следует затрагивать, лучше когда-нибудь потом” (*Минувшее,* стр. 343).

**7**

<Между 18 и 27 августа 1908 г., Москва>

*Написано после письма насчет “рассчитывания” и пр<очего>, 31-го VII 081.*

Стало холодно вдруг и горели виски  
И казалась вся жизнь мне — тюрьма.  
Но скажите: прорвалась хоть нотка тоски  
В ироническом тоне письма?  
Был ли грустной мольбы в нем малейший намек,  
Боль о том, что навек отнято,  
И читался ли там, меж презрительных строк  
Горький оклик: “За что? О, за что?” —  
Кто-то тихо сказал: “Ты не можешь простить,  
Плачь в душе, но упреков не шли.  
Это гордость в себе свое горе носить!” —  
И сожгла я свои корабли...  
Кто-то дальше шептал — “В сердце был огонек2,  
Огонькам ты красивым не верь!” —  
И за этот за горький, тяжелый урок  
Я скажу Вам — спасибо теперь.  
Только грустно порою брести сквозь туман,  
От людей свое горе тая, —  
Может быть, это был лишь красивый обман,  
И не знаю, любила ли я...

И Вы в свою очередь, Петя, не смейтесь. Ведь очень легко можно сказать Вам: “Вот сентиментальная девица. Почти что признание в любви!” — На это отвечу: это дело прошлое. Стихи эти написаны под впечатлением обиды и живым воспоминанием о Вас, каким я знала Вас в Орловке. Теперь всё изменилось. Не то чтобы ссора наша отдалила нас друг от друга, а всё-таки есть что-то. Вы и сам, верно, это чувствуете. Согласны ли Вы? —

Ну т<а>к вот, Вы не смейтесь. А всё-таки мы, пожалуй, еще будем друзьями, и близкими. Мне отчего-то т<а>к кажется. О многом поговорим, когда увидимся и если увидимся.

Какое впечатление осталось у Вас от моих этих стихов? Пишите.

Соне передайте от меня, что “Лева3 в Москве”. —

Ну, до свидания.

Хорошо бы, если бы зимой началось что-нибудь! Т<а>к жить нельзя, копаться в своей душе вечно — значит лишить себя всякой радости. Поменьше комнатной жизни! —

1 Речь идет о письме 5.

2 Ср. с фразой из письма 13: “Я когда-то заметила в Вас искорку”.

3 Лева — по-видимому, имеется в виду Лев Николаевич Липеровский (1887 — 1963), брат будущего мужа С. Юркевич. Сын священника, в 1907 — 1913 годах — студент медицинского факультета Московского университета, затем земский и военный врач; участник московских религиозных кружков. После революции вступил в Братство Св. Алексия, был посвящен патриархом в чин “благовестника”. Эмигрировал в Шанхай. Впоследствии жил во Франции, где стал активистом Русского христианского движения, принял священство (умер в сане протоиерея).

**8**

<27 августа 1908 г., Москва>

Какая у меня сейчас отчаянная тоска, Понтик! Осень, колокольный звон, сознание, что лучшее время уходит без радости. Вы вот говорите о том, что я слишком много занимаюсь своим “я”. А откуда взять внешние события, когда их нет? Ходить в гости? Но это мне доставляет гораздо больше мучения, чем радости. Кто-нибудь пошутит, т<а>к себе, без всякого умысла, а я потом думаю, думаю об этой фразе, выворачиваю ее во все стороны, пока не додумаюсь до того, что всем на меня наплевать и пр<очее>.

Бывают у меня минуты, когда мне хочется, чтобы меня пожалели. Под таким настроением (опять-таки только настроением) вылилось у меня след<ующее> стихотворение, к<отор>ое Вы найдете на 2-ой стр<анице>.

Я сама знаю, что не надо т<а>к возиться с собой. Да если бы теперь началось “что-нибудь”, разве я бы стала хандрить? При одной мысли о возможности революции у меня крылья вырастают. Только не верится что-то.

Гляжу сейчас на поблекший хмель на стенах сарая, на безучастные крыши домов, на небо без просвета, без голубого клочка... А где-то солнце, цветы, где-то люди смеются.

Ну, слушайте стихи.

*В ожидании ответа на мое “покаянное” письмо1.*

Вы простите, я знаю, мы встретимся дружно  
И не будем смеяться намеками зло,  
Но о том, что казалось т<а>к близко, т<а>к нужно,  
Не смогу я сказать — ведь т<а>к много ушло!  
Эта грустная мысль уж меня не тревожит,  
Вспыхнет вновь ли костер, что горел в темноте?\*

Будут новые искры, и лучше, быть может,  
Будут новые искры, но только не те.  
Это рок. Человеческой жизни тоска в нем.  
Помню всё, и порывистый наш разговор...  
Вспоминаю о нем к<а>к о милом, о давнем,  
Хоть немного недель промелькнуло с тех пор.  
Если всё это было не призрачным словом,  
Что читалось под солнцем июльского дня,  
Снова вспыхнет тоска, и в доверии новом  
Я приду и скажу: “Пожалейте меня!”2 —

В одном из Ваших писем, Понтик, Вы спрашиваете, откуда я беру данные для пессимистического мировоззрения. Ну хотя бы из такой хандры, к<отор>ая иногда длится несколько дней подряд.

Из гордости не лезу к людям за участием (“а ко мне лезешь” дополните Вы), а сами приласкать не догадаются. Малейшая шутка т<а>к бесит, т<а>к обижает, что иногда даешь себе волю и говоришь, что попадется на язык. Разумеется, уж не нежное.

Конечно, глупо обвинять мир в том, что мне скверно, да я и не обвиняю, но невольно общие выводы окрашиваются в черный цвет, или в серый, это верней. Это всё очень банально, что я говорю.

От Вашего письма у меня осталось двойственное впечатление. Т<а>к было я ему обрадовалась, и вдруг натыкаюсь на такую зачеркнутую фразу:

— “Вот Вам мой взгляд. Понимайте к<а>к хотите. Мне совершенно всё равно, т<а>к к<а>к это меня сейчас совершенно не интересует”.—

Я это и т<а>к знаю, Петя, у меня душа не из носорожьей кожи3, я всё очень быстро понимаю.

Жаль, что не зачеркнули почерней, т<а>к к<а>к я всегда очень основательно изучаю зачеркнутые места в полной уверенности найти там что-нибудь неприятное.

Желаю Вам удачного перехода на естественный факультет4. Теперь Вам, конечно, недосуг будет писать, ну, а когда освободитесь немножко, буду рада получить от Вас известие, к<а>к Вы устроились и пр<очее>.

Всего лучшего.

Оба экзамена выдержала на 4 (по отдельности)5.

Иду на молебен.

МЦ.

*27-го VIII 08.*

1 Речь идет о письме от 4 августа 1908 года (см.: *Минувшее,* стр. 343 — 344).

2 “Пожалейте меня” — со временем эта любовная формула изменилась на: “Пожалеть тебя” (см. стихотворение “Не сегодня-завтра растает снег...”, 1916). См. также письмо от 21 июля 1916 года: “Я так стремительно вхожу в жизнь каждого встречного, так хочу ему помочь, “пожалеть”...” (*Минувшее,* стр. 345).

3 Ср. позднейший отзыв М. Л. Слонима о Цветаевой: “Одна голая душа. Даже страшно!” (письмо от 7 апреля 1929 года в кн.: Цветаева М. Письма к А. Тесковой. Прага. “Academia”. 1969, стр. 75).

4 В письме от 13 августа 1908 года Цветаева спрашивала корреспондента: “Как же Вы решили насчет университета?” (*Минувшее,* стр. 342). Колебания Юркевича в выборе профессии отражены и в нарисованных Цветаевой “сценках” из будущей жизни, где он предстает или врачом, или учителем (см.: письмо от 22 июля 1908 года — *Минувшее,* стр. 339; письмо 4). В действительности, как показывают издававшиеся ежегодно “Алфавитные списки студентов Императорского Московского университета”, Юркевич поступил в 1907 году на медицинский факультет, в 1908 — 1909 учебном году обучался на историко-филологическом факультете, за 1909 — 1910 учебный год сведения о нем отсутствуют, затем он снова числится студентом медицинского факультета.

5 См. примеч. 2 к письму 3.

**9**

<Не ранее второй половины сентября 1908 г., Москва>1

Милый, славный Понтик! Не сердитесь, всё равно этим ничего не достигнете. Нужно было чем-нибудь выразить то чувство, названия к<оторо>го я не знаю, — если вышло по-ребячески и глупо — изменять теперь поздно. Обещать ничего не обещаю, совсем не вижу, почему я *должна* обещать. Скажу одно: такие поступки не повторяются.

Сейчас вечер. В комнатах ясный сумрак. Небо желто-розовое, светлое, звонят колокола.

В такие вечера я ник<а>к не могу найти себе места. К<а>к красиво, когда лучи заходящего солнца отражаются в окнах домов! Точно чьи-то широко раскрытые блестящие глаза! Дребезжат пролетки...

Милый мальчик мой, к<а>к мне вчера было хорошо с Вами.

Любовь, дружба ли — не всё ли равно? Дело не в названии.

Господи, Понтик, к<а>к много в жизни такого, чего нельзя выразить словами! Слишком мало на земле слов.

Крепко жму Вам руку. Не сердитесь за вчерашний порыв. Бывают минуты, когда не сама действуешь, а под влиянием чего-то очень сильного. Если всё-таки недовольны, постарайтесь забыть. Я напоминать не буду.

Ну, друзья, что ли?

Ваша МЦ.

PS Прилагаемое письмо будьте добры — передайте Сереже.

Напишите, к<а>к Вы, сердитесь или нет? Милый, хороший!

1 Датируется по черновику письма Юркевича, полный текст которого приводится в предисловии к настоящей публикации. Возможно, его содержание имеет отношение к данному письму Цветаевой и упомянутому в нем инциденту.

**10**

<Не ранее второй половины сентября 1908 г., Москва>1

Знаете, Понтик, я ник<а>к не могу решить, Вас ли я любила или свое желание полюбить?2 “Жить скверно и холодно, согревает и светит любовь”. Т<а>к говорят люди. Я хотела попробовать, способна ли я любить или нет. Но все встречные были такие противные, мелочные, дрянные, что, увидев Вас, мне показалось: “Да, такого можно любить!” И мало того — я почувствовала, что люблю Вас.

Все дни, когда от Вас не было писем, и эти последние, московские дни мне было отчаянно-грустно. А теперь я несколько дней совершенно о Вас не вспоминала. А герцога Рейхштадтского3, к<оторо>го я люблю больше всех и всего на свете, я не только не забываю ни на минуту, но даже часто чувствую желание умереть, чтобы встретиться с ним4. Его ранняя смерть, фатальный ореол, к<отор>ым окружена его судьба, наконец, то, что он никогда не вернется, всё это заставляет меня преклоняться перед ним, любить его без меры т<а>к, к<а>к я не способна любить никого из живых. Да, это всё странно.

К Вам я чувствую нежность, желание к Вам приласкаться, погладить Вас по шерстке, глядеть в Ваше славное лицо. Это любовь? Я сама не знаю. Я бы теперь сказала — это жажда ласки, участия, жажда самой приласкать. Но сравниваю я свое чувство к Наполеону II с своей любовью к Вам и удивляюсь огромной их разнице.

М<ожет> б<ыть>, т<а>к любить, к<а>к люблю я Наполеона II, нельзя живых. Не знаю5.

Чувствую только, что умерла бы за встречу с ним с восторгом, а за встречу с Вами — нет.

Понтик, я считаю Вас настолько чутким, что надеюсь, Вы не обвините меня в бегстве перед Вами.

То, что сказано, — сказано. Если Вы думаете, что я теперь из гордости говорю Вам всё это, — можете потребовать от меня чего-нибудь, что меня бы унизило. Я исполню.

Трусить я перед Вами не трушу и не раскаиваюсь в том, что было, а просто делюсь с Вами сомнениями, к<отор>ые возникли у меня на этот счет.

Я купила большой портрет Герцога Рейхштадтского ребенком6: продолговатое личико с недоверчивым взглядом темных серьезных глаз, высокомерное выражение красивых губ, мягкие, пушистые волосы, оттеняющие высокий лоб... Общее выражение лица грустно-надменное. По целым часам могу смотреть на это чудесное личико сломленного жизнью гениального ребенка.

У меня к нему такое чувство восторга, жалости и преклонения, что я бы на всё пошла ради него.

Я всё лето, всю прошлую весну жила мыслями, снами, чтением о нем. Есть драма “Орленок” (“L’Aiglon”)7, это моя любимая книга. В ней в проникновенных стихах выражается вся трагическая судьба сына Наполеона I8. Его детство, смутные воспоминания о Версале, об отце, потом юность среди врагов, в Австрии, все его грезы о Франции, о битвах, вся его молодая странная жизнь проходит перед нами. Есть места, к<отор>ые можно перечитывать без конца. Читаешь и чувствуешь, к<а>к подступают слезы, и плачешь, плачешь в тоске по этому молодому, чудесному, непризнанному ребенку, т<а>к несправедливо загубленного\* судьбой9.

Да, такая любовь, к<а>к моя к этому болезненному мальчику, этому призраку, — это действительно любовь10.

Если бы мне сказали: “Ты согласна сейчас увидеть драму “L’Aiglon”, а потом умереть?”11 — я бы без колебаний ответила — “Да!”—

Увидеть эту аристократическую голову, эту гибкую фигуру с белокурой прядью на лбу, услышать этот голос, говорящий предсмертные слова. — Господи, да за это все мучения можно претерпеть, не то что умереть!

Я знаю, что никогда не достигну своей мечты — увидеть его, поэтому и буду любить его до самой смерти больше всех живых.

Ну, заговорилась я.

Милый Понтик, не сердитесь, верьте мне, я не виновата в том, что я такая неровная.

Крепко жму Вам руку.

Ваша МЦ.

PS [Зачеркнуто.] Я люблю Вас больше всех *живых* на свете, оговорку\*\*, о к<отор>ой я раньше забыла.

1 Датируется по содержанию письма Юркевича (см. примеч. к письму 9).

2 По всей видимости, это и последующие признания Цветаевой вызваны ее неудовлетворенностью “ответом” корреспондента (см. предисловие к настоящей публикации).

3 Герцог Рейхштадтский, или Наполеон II (Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт; 1811 — 1832) — сын Наполеона I и Марии-Луизы, получил титул короля Римского. С 1814 года постоянно жил при австрийском дворе, в замке Шенбрунн под Веной, где и умер от чахотки. В 1815 году был провозглашен французским императором, но никогда не правил. В 1818 году получил во владение от австрийского императора богемский город Рейхштадт.

Пылкая любовь Цветаевой к Наполеону II выражена в таких ранних стихотворениях, как “В Шенбрунне”, “Камерата”, “Расставание”, “Стук в дверь” (сб. “Вечерний альбом”), “Герцог Рейхштадтский” (сб. “Волшебный фонарь”). О неизменно любовном отношении к нему Цветаевой и в зрелые годы см.: Нива Ж. Миф об Орленке. По материалам женевских архивов, связанных с Мариной Цветаевой. — “Звезда”, 1992, № 10, стр. 139 — 143.

4 Подобное чувство было пережито корреспонденткой в двенадцатилетнем возрасте в связи со смертью Н. Иловайской, о чем позднее Цветаева рассказала в “Доме у Старого Пимена” (1933): “...эта любовь была — тоска. Тоска смертная. Тоска по смерти — для встречи. Нестерпимое детское „сейчас!”. А раз здесь нельзя — так не здесь, раз живым нельзя — так. „Умереть, чтобы увидеть Надю” — так это звалось, тверже, чем дважды два, твердо, как „Отче наш”” (Цветаева М. Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. М. “Художественная литература”. 1984, стр. 62).

5 А. И. Цветаева писала о сестре: “Кого из них [Наполеона I и Наполеона II] она любила сильнее — властного отца, победителя стольких стран, или угасшего в юности его сына, мечтателя, узника Австрии? Любовь к ним Марины была раной, из которой сочилась кровь” (*АИЦ-3,* стр. 269).

6 Имеется в виду портрет работы английского живописца Томаса Лоренса (Лауренса; 1769 — 1830) “Le Roi de Rome” (“Король Римский”, 1820). Репродуцирован в кн.: Aubry O. L’Aiglon. Des Tuileries aux Invalides. [Paris.] “Flammarion” [Б. г.], фронтиспис.

Ср. описание этого портрета в воспоминаниях А. И. Цветаевой: “...овальный портрет отрока Рейхштадтского, знаменитый портрет Лоренса — нежное личико мальчика лет девяти, с грациозной благожелательностью и с недетской печалью глядящее из коричневатых волнистых туманностей рисунка, словно из облаков” (*АИЦ-3,* стр. 269).

7 Речь идет о пьесе французского поэта и драматурга Эдмона Ростана (1868 — 1918), посвященной герцогу Рейхштадтскому (поставлена и издана в 1900 году). В 1908 — 1909 годах Цветаева сделала русский перевод “Орленка” (перевод не сохранился). С этого произведения в дневниковой записи Цветаевой 1919 года начинается список “Мои любимые — в мире — книги”. В “Ответе на анкету” (1926) оно же указано в последовательности любимых книг, каждая из которых дает эпоху: “L’Aiglon” Ростана — ранняя юность.

8 В “Ответе на анкету” Цветаева писала: “Постепенность душевных событий: <...> с 12 лет и поныне — Наполеониада, перебитая в 1905 г. Спиридоновой и Шмидтом, <...> 16 лет — разрыв с идейностью, любовь к Саре Бернар (“Орленок”), взрыв бонапартизма, с 16 по 18 лет — Наполеон (Виктор Гюго, Беранже, Фредерик Массон, Тьер, мемуары, Культ)” (*Воспоминания,* стр. 10 — 11).

9 Ср. воспоминания А. И. Цветаевой: “Ни одна из жен Наполеона, ни родная мать его сына, быть может, не оплакали их обоих с такой страстной горечью, как Марина в шестнадцать лет!” (*АИЦ-3,* стр. 269).

10 Интересно сопоставить эти слова Цветаевой с наблюдением современного исследователя. В работе С. В. Поляковой “К вопросу об источниках поэмы Цветаевой „Царь-Девица”” высказывается мнение, что “самая схема сказочного сюжета <...>, т. е. несчастная любовь мужского склада женщины к женственному (resp.\* слабому, молодому) избраннику, отвечала личному опыту Цветаевой и была жизненно близка ей” и что “уже в молодые годы, не говоря о зрелых <...>, любовные отношения Цветаевой укладываются в подобную формулу” (“Russica-81. Лит. сб.”. N. Y. “Russica Publishers Inc.”. 1982, стр. 224). Той же психологической схеме соответствует, как нам кажется, и отношение юной Цветаевой к герцогу Рейхштадтскому (как и любовь к нему графини Камераты). Следовательно, тот “любовный” ряд указанных исследователем лирических адресатов и литературных героев Цветаевой можно было бы открыть не именем ее мужа, С. Я. Эфрона, а по крайней мере именем Орленка.

11 В воспоминаниях А. И. Цветаевой упоминается о попытке самоубийства М. Цветаевой на спектакле “Орленок” с участием прославленной французской актрисы С. Бернар. Подробно останавливаясь в своем комментарии на этом эпизоде (см.: *Минувшее,* стр. 348), мы высказывали предположение, что датировка этого события ошибочно отнесена мемуаристкой к масленичной неделе 1910 года, тогда как речь, по-видимому, должна идти о рождественских каникулах 1908 — 1909 годов, поскольку труппа С. Бернар в последний раз гастролировала в Москве в декабре 1908 года (спектакли “Орленка” были сыграны 14 и 22 декабря на сцене Интернационального театра), а в зимне-весеннем репертуаре московских театров за 1909 и 1910 годы “Орленок” не значится.

В письме от 13 августа 1969 года к одному из авторов примечаний А. И. Цветаева уточняла, что поступок сестры имел место в “1909 *или* 1910 — п<отому> ч<то> приезд М<арины> в Тарусу (и мне, на ходу, “не удалось”) был во время рождеств<енских> каникул, и было ли *это* до 1 янв<аря> или после — кто скажет?” (архив Е. И. Лубянниковой). Таким образом, наша версия о связи упомянутого события с рождественскими каникулами нашла свое подтверждение.

Впоследствии М. Цветаева видела “Орленка” (также с С. Бернар в главной роли) весной 1912 года в Париже, во время своего свадебного путешествия, но это был один из самых счастливых периодов в ее жизни.

**11**

<Осень 1908 г., Москва>

Ну вот, хотела с Вами поссориться1, да сейчас раздумала.

Читаю я “Дух времени” Вербицкой2. Вещь совсем не талантливая, но, подойдя к описанию октябрьских событий, похорон Баумана3, я прямо не выдержала: швырнула книжку в потолок и села за письмо к Вам. Мне прямо *больно* читать такие книги. Мысль, что всё это прошло, что молодость пройдет без этого, не дает мне покоя. Подумайте, вдруг, когда нам будет по сорока лет, всё это начнется. Ведь нельзя жить без этого!

Можно жить без очень многого: без любви, без семьи, без “теплого уголка”. Жажду всего этого можно превозмочь. Но к<а>к примириться с мыслью, что революции не будет? Ведь только в ней и жизнь?

Рядом с мыслью о ней всё т<а>к мелко, все эти самолюбия, намеки, весь этот чад, вся эта копоть!

Охотно прощаю Вам Ваше “спать хочется”4. Всё это ерунда. Хочется — и спите. Спите крепко, без сновидений. Спать хочется? С чем и поздравляю. Нет, всё это не стоит тоски!

Неужели эти улицы никогда не потеряют своего мирного вида? Неужели эти стекла не зазвенят под камнями? Неужели всё кончено?

Слишком много могу Вам сказать. Вот передо мной какие-то статуи...5 К<а>к охотно вышвырнула бы я их за окно, с каким восторгом следила бы, к<а>к горит наш милый старый дом!

Ничего не надо, ничего не жалко!

Только бы началось.

Восьмидесятников6 у меня нет, искала-искала, не нашла.

МЦ.

1 См. примеч. 4.

2 Вербицкая Анастасия Алексеевна (урожд. Зяблова; 1861 — 1928) — писательница, издательница, педагог. Реабилитировала форму бульварного, или сенсационного, романа. Была очень популярна в годы реакции, наступившей после революции 1905 — 1907 годов. Главные темы ее творчества — вопросы пола и женская эмансипация. Подробнее см.: Грачева А. М. Анастасия Вербицкая. Легенда, творчество, жизнь. — В кн.: “Лица. Биографический альманах”. 5. М. — СПб. “Феникс”. “Atheneum”, 1994, стр. 98 — 117. “Дух времени” — роман, отражающий жизнь русского общества в период с 1903 по 1905 год, включая события Московского вооруженного восстания; с 1907 по 1912 год выдержал три издания и был переведен на несколько европейских языков.

3 Бауман Николай Эрнестович (псевд. Грач; 1873 — 1905) — профессиональный революционер, большевик. Убит черносотенцами. Его похороны 20 октября 1905 года в Москве вылились в трехсоттысячную политическую демонстрацию.

4 Речь идет об эпизоде, когда Юркевич “не допроводил” Цветаеву до дому. Этот случай послужил поводом для написания стихотворения “Месяц высокий над городом лег...” (см.: *Минувшее,* стр. 359 — 360), героический пафос которого заметно отличается от снисходительного тона письма.

5 Как вспоминала А. И. Цветаева, в их доме в Трехпрудном переулке, в углах гостиной, у окон, на белых круглых колоннах-постаментах стояли бюсты греческих богов Аполлона и Дианы (см.: *АИЦ-3,* стр. 42, 302). Названия этих скульптур, о которых М. Цветаева пишет как о “статуях”, были ей, несомненно, хорошо известны.

Ср. иной тон упоминания о них в ее юношеской поэме “Чародей” (1914):

Вплываем в царство белых статуй  
И старых книг.  
................................  
Бюст Аполлона — план Музея —  
И всё — как сон

(Цветаева М. Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. М. “Художественная литература”. 1988, стр. 341 — 342).

6 Имеются в виду либеральные народники, влияние которых усилилось в середине 1880-х годов, в период кризиса народничества (“малых дел теория” Я. В. Абрамова, выступления против марксизма Н. К. Михайловского и др.). См. также примеч. 10 к письму от 22 июля 1908 года (*Минувшее,* стр. 350).

**12**

<Осень 1908 г., Москва>

Спасибо за Ваше письмо. Я рада, что Вы прочли мою автобиографию1.

Не подумайте, Петя, что я забыла о Вас вчера, но Эллис2 довольно капризен и, пожалуй, не зная о Вас от меня, стал бы ехидничать или вообще выкинул бы что-нибудь. Поэтому я Вас не позвала. Вы, к<а>к человек обидчивый, наверное, рассердились бы, и вообще заварилась бы каша. Если он Вас интересует и Вы пожелали бы его повидать — ожидайте худшего, к<отор>ое, м<ожет> б<ыть>, и не осуществится. Напишите мне насчет этого — тогда извещу Вас, когда он у нас будет.

У меня сейчас настроение досады на себя. Мне кажется, что я веду с людьми себя непростительно-искренно и глупо.

Дождь, дождь, дождь. Крыши такие унылые со своим мокрым слезливым видом. Что может быть хуже домов? Ящики: непростительно правильные, грузные, все такие похожие3.

Что было здесь несколько тысяч лет тому назад? Т<а>к же падали желтые листья, только вместо “рыжего дома со ставнями”4 здесь были болота.

А всё-таки осень хороша. К<а>к красиво падает лист! Вот он оторвался, в нерешимости кружится, потом опускается ниже, ниже и наконец плавным движением приникает к земле, где лежат его братья — все тем же путем окончившие короткую жизнь. Падение листьев — символ жизни человеческой. Все мы рано или поздно после недолгого кружения по воздуху своих мыслей, грез, заветных дум возвращаемся к земле5. Все радости и все печали осени — в ее неминуемости. Желтый сарай с увядшим хмелем, мокрая черная земля, скользкие мостки, желтые грустные листья — всё это и ненавистно и дорого, и ласкает и мучит.

Да, грустно. Радует меня то “нечто”, чем пахнет в воздухе. Только не могу, не смею верить я, что оно действительно осуществится. Не забастовка, нет, но боевая готовность, уснувшая даже в лучших, жажда грозных слов и великих дел.

Нет больше пороха в людях, устали они, измельчали, и не верю я, что эти самые, обыденные и довольные, могли бы воскресить революцию6. Не такие творят, о нет! А м<ожет> б<ыть>, те, что творят, настоящие, нежные и глубокие только и существуют что в сочинениях Вербицкой и “Андрее Кожухове” Степняка7. Можно бороться, воодушевляясь прочитанным, передуманным (никакими экономическими идеалами и настоящими марксистами нельзя воодушевиться), можно бороться, воодушевляясь *мечтой,* мечтой нечеловеческой красоты, недостижимой свободы, *только недостижимой!*

Красота, свобода — это мраморная женщина, у ног к<отор>ой погибают ее избранники. Свобода — это золотое облачко, к к<оторо>му нет иного пути кроме мечты, сжигающей всю душу, губящей всю жизнь. Ит<а>к, бороться, за недостижимую свободу и за нездешнюю красоту я буду бороться в момент подъема. Не за народ, не за большинство, к<отор>ое тупо, глупо и всегда неправо. Вот теория, к<отор>ой можно держаться, к<отор>ая никогда не обманет: быть на стороне меньшинства, к<отор>ое гонимо\* большинством8. Идти против — вот мой девиз!9 Против чего? спросите Вы. Против язычества во времена первых христиан, против католичества, когда оно сделалось господствующей религией и опошлилось в лице его жадных, развратных, низких служителей, против республики за Наполеона, против Наполеона за республику, против капитализма во имя социализма (нет, не во имя его, а за мечту, свою мечту, прикрываясь социализмом), против социализма, когда он будет проведен в жизнь, против, против, против!

Нет ничего реального, за что стоило бы бороться, за что стоило бы умереть. Польза! Какая пошлость. Приятное с полезным, немецкий педантизм, слияние с народом... Гадость, мизерия, ничтожество!

Умереть за... русскую конституцию. Ха ха ха! Да это звучит великолепно. На кой она мне черт, конституция, когда мне хочется Прометеева огня. “Это громкие слова”, скажете Вы. Пусть громкие слова! Громкие красивые слова выражают громкие, дерзкие мысли. Я безумно люблю слова10, их вид, их звук, их переменность, их неизменность. Ведь слово — всё! За свободное слово умирали Джиордано Бруно, умер раскольник Аввакум, за свободное слово, за простор, за звук слова “свобода” умерли они.

Свободное слово! К<а>к это звучит!

Понтик, милый мой, брат, милый брат, Вы меня понимаете?

Вдруг исчезла бы Москва с синематографами, конками, гостиницами, экипажами, четвергами, субботами, всей этой суетней, и вместо нее — Кавказ, монастырь, где томилась Тамара, скалы, орлиные гнезда, аулы, смуглые лица черкесов, их гортанный говор, пляска их девушек, обрывы, кони, звездные ночи, вершины Казбека и Эльбруса. Но Кавказ дикий, девственный, Кавказ 300 — 400 л<ет> тому назад.

Быть героем какой-нибудь книги, ехать ночью верхом, скатиться в пропасть, встретиться с душманами. Изведать хоть раз чувство одинокого творчества там, наверху, забыть о Москве, не знать о митингах, кадэтах\* и эсдеках, холере и синематографах. Вы понимаете?

Дождь, дождь, дождь. Мокрые крыши, желтые листья, заливается на соседнем дворе шарманка...

Пишите, Понтик.

Ваша МЦ.

1 Упоминание об автобиографии содержится также в недатированной открытке Цветаевой к В. Генерозовой: “Автоб<иография> подвигается 411[?] стр.” (архив Л. А. Мнухина). Другими сведениями об этом документе мы не располагаем.

2 Эллис Лев Львович (наст. фам. Кобылинский; 1879 — 1947) — поэт, переводчик, теоретик символизма; сын педагога Л. И. Поливанова. Друг М. и А. Цветаевых, с которым они познакомились зимой 1907 — 1908 годов в доме Л. А. Тамбурер; был желанным гостем сестер в доме в Трехпрудном переулке. В конце 1909 года сделал предложение М. Цветаевой, которое ею не было принято. С 1913 года жил в Швейцарии.

Эллис — адресат писем М. Цветаевой 1909 — 1910 годов и герой ее стихотворений “Ошибка”, “Чародею”, “Бывшему чародею”, “Луч серебристый” (акростих), “Первое путешествие”, “Второе путешествие” (сб. “Вечерний альбом”), поэмы “Чародей” и др. Ему посвящены многие страницы воспоминаний А. И. Цветаевой (см.: *АИЦ-3,* стр. 258 — 322). Ср. такую его характеристику: “Эллис, в своей полной материальной неустроенности, был насмешлив, неблагодарен до мозга костей, надменен к тому, у кого ел, повелителен к тому, от кого зависел” (там же, стр. 258).

3 Надо полагать, эта характеристика относится скорее к современным строениям, свое отвращение к которым Цветаева высказала в стихотворении “Домики старой Москвы” (сб. “Волшебный фонарь”):

Вас заменили уроды,—  
Грузные, в шесть этажей

(Цветаева М. Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. М. “Художественная литература”. 1988, стр. 43).

4 Подразумевается дом Цветаевых в Трехпрудном переулке, № 8. По свидетельству А. И. Цветаевой, “крашенный — сколько помню его, с 1897 г., — коричневой краской” (*АИЦ-3,* стр. 40).

5 Ср. позднейшее обращение Цветаевой к этому образу в стихотворении “Когда я гляжу на летящие листья...” (1936). Здесь налицо явное смещение авторского акцента. Если для юной Цветаевой падение листьев — символ человеческой жизни, то в зрелом поэтическом осмыслении этот образ несет в себе символику человеческой смерти.

6 Ср. письмо от 22 июля 1908 года: “Поглядите на окружающих, <...> неужели это люди? <...> Где же красота, геройство, подвиг? Куда девались герои?” *(Минувшее,* стр. 337).

7 Степняк Сергей Михайлович (наст. фам. Кравчинский; 1851 — 1895) — революционер-народник, писатель. Член кружка “чайковцев”, участник “хождения в народ”, в 1878 году примкнул к “Земле и воле”, убил шефа жандармов Н. В. Мезенцова. В эмиграции основал “Фонд вольной русской прессы”. Автор произведений о русских революционерах: романа “Андрей Кожухов” (английский оригинал “The Career of Nihilist”, 1889), очерков “Подпольная Россия” (1882) и др.

Цветаевой могли быть доступны издания: Степняк С. (Кравчинский С. М.) Андрей Кожухов. Роман. Пер. с англ. Предисл. Г. Брандеса. Женева. Изд. Ф. Степняк. 1898; Степняк-Кравчинский С. М. Собр. соч. В 6-ти ч. Ч. 4. Андрей Кожухов. Пер. с англ. и предисл. Ф. М. Степняк. Под ред. и с предисл. П. А. Кропоткина. СПб. “Светоч”. 1907. Об увлечении Цветаевой-гимназистки этим романом упоминают ее бывшие подруги В. К. Перегудова (Генерозова) и С. И. Липеровская (Юркевич), последняя вспоминает: “Особенно увлекал Степняк-Кравчинский; Андрей Кожухов стал любимым героем. Марина пополняла арсенал “недозволенных” книг” (*Воспоминания,* стр. 32).

8 Эта теория, говоря словами Цветаевой, действительно никогда ее не обманула. О своем неподчинении “никакому организованному насилию, во имя чего бы оно ни было и чьим бы именем ни оглавлялось”, она позднее писала Ю. П. Иваску, а в другом письме к нему утверждала: “Все мои непосредственные реакции — *обратные.* Преступника — выпустить, судью — осудить, палача — казнить” (письма от 4 апреля 1933 года и 27 февраля 1939 года — “Русский литературный архив”. Нью-Йорк. 1956, стр. 212, 232). Близко знавший Цветаеву В. Б. Сосинский отмечал ее “слабость <...> к побежденным, к проигравшим игру, к людям, выкинутым из истории на свалку” (*Воспоминания,* стр. 373), что, конечно же, было не слабостью, а нравственным императивом.

9 Как отмечает современный исследователь, “жизненная позиция „против течения”” была завещана Цветаевой ее матерью — Марией Александровной Мейн. В записи 1919 года Цветаева вспоминала “ее любовь к очень элементарным, но прекрасным — суть пересилила форму, дошла вопреки форме — стихам [А. К.] Толстого “Против течения”, — девиз ее жизни” (Цветаева Марина. “Двух станов не боец...” Публ. и послесл. Е. Б. Коркиной. — “Наше наследие”, 1988, № 1, стр. 73). К сказанному можно добавить, что и помимо материнского завета эта позиция должна была стать самодовлеющей для “мятежницы лбом и чревом” Цветаевой — как безусловный атрибут поэта-романтика.

10 Ср. письмо от 4 августа 1908 года: “Соглашаюсь с Вами, что слишком люблю красивые слова” (*Минувшее,* стр. 343).

**13**

Weisser Hirsch, 8-го Июля 1910 г<ода>1.

У меня к Вам, Петя, большая просьба: пожалуйста, прочтите Генриха Манна “Богини” и “Голос крови”2.

Вы этим доставите мне большую радость, а себе — по меньшей мере несколько ярких, незабываемых часов.

Чтение Манна — плаванье по очень яркому морю, под очень синим небом, на очень красивой галере с очень красивыми гребцами, мимо очень пестрых городов.

Судите немцев не по добродушным бюргерам, а по таким, к<а>к Манн3. Хотя нельзя сказать “по таким”, т<а>к к<а>к Манн один и не похож ни на кого из всех существующих и когда-либо бывших писателей.

Если сравнивать его с кем-н<и>б<удь> — его, пожалуй, можно сравнить еще с D’Annunzio4.

Знакомы ли Вы с произведениями последнего?

Если нет — будьте хорошим мальчиком, прочтите его “Огонь”, “Наслаждение”, “Девы скал”5.

Поймите, я прошу только для Вас. Сама я ведь читала эти вещи, и выгоды в том, что Вы их прочтете, для меня никакой нет.

Я когда-то заметила в Вас искорку, Петя, и мне хочется, чтобы она *никогда* не погасла, несмотря ни на что.

Берегите ее! Все лишившиеся ее перестали жить.

Все, никогда ее не имевшие, вовсе не жили.

И в Орловке можно жить с тревожно бьющимся сердцем.

И в Париже можно жить без всякого волнения.

Всё зависит от нас — не от нас, желающих чего-н<и>б<удь>, а от нас, всегда чувствующих себя, ощущающих каждое биение своего сердца.

Понятны Вам мои слова?

Природа и книги, — выше и ярче нет ничего6. Музыка, музеи, книги, розовые вечера и розовые утра, вино, бешеная езда, — всё это мне необходимо, ибо только тогда я живу, когда чувствую в себе дрожь яркого переживания.

Всё остальное — самообман.

Я не боюсь пошлости, т<а>к к<а>к знаю, что ее во мне нет.

Я боюсь одного в мире — минуты, когда во мне замирает жизнь.

Это — расплата за каждый праздник. И тогда я бессильна перед жизнью. Кроме такого мгновенного затишья нет для меня ничего страшного, потому что я чувствую в себе бесконечный восторг перед каждым облачком, напевом, поворотом дороги.

И вот, Петя, мне хотелось бы и Вам передать свою сладкую способность вечно волноваться.

Мне хотелось бы, чтобы Вы, благодаря мне, пережили многое — и не забыли его.

Верьте и доверьтесь мне.

Я много перемучалась. Вспомните то, что я говорила о расплате за праздники.

Читайте, Понтик, Манна и д’Аннунцио и читая вспоминайте меня. Это мне будет большой радостью.

Ни один человек, встретившийся со мною, не должен уйти от меня с пустыми руками.

У меня т<а>к бесконечно много всего!

Умейте только брать, выбирать.

Я говорю: “ни один человек”...

Пожалуйста, не думайте, что я хочу сказать: “ни один первый встречный”. Нет, я говорю только о тех, с кем у меня есть хоть немного общего.

Обижаться на мое письмо, если Вам и захочется, Понтик, не надо! К чему эта мелочность? Я пишу Вам в хорошую минуту. Сумейте увидать в этом письме настоящую меня и не обижаться на то, что Вам покажется обидным.

Я пишу Вам с горячим желанием передать Вам свое настроение. Возьмите его, если захотите... Вот и всё!

МЦ.

1 Лето 1910 года М. и А. Цветаевы провели в местечке Лохвиц в горной части маленького городка Вайсер-Хирш, под Дрезденом, в семье пастора Бахмана. М. Цветаева вспоминала об этой поездке в дневниковой прозе “О Германии” (1919). См. также: *АИЦ-3,* стр. 331 — 341. Возможно, письмо датировано по новому стилю, принятому в то время в Германии.

2 Манн Генрих (1871 — 1950) — немецкий писатель. “Богини” — имеется в виду трилогия: “Die Gцttinnen oder Drei Romane der Herzogin von Assy. I-III (Diana. Minerva. Venus)”. Mьnchen. A. Langen. 1903). В России трилогия “Богини, или Три романа герцогини Асси (Диана. Минерва. Венера)” вышла в свет в составе Полного собрания сочинений Г. Манна (Т. 1 — 3. Пер. В. М. Фриче. М. “Современные проблемы”. 1909 — 1910). “Голос крови” — под таким названием в переводе М. Славинской и Р. Ландау (М. “Польза” В. Антик и Ко. 1909) был опубликован роман Г. Манна “Zwischen den Rassen” (“Между расами”) (Mьnchen. A. Langen. 1907).

Свободно владея немецким языком, Цветаева, вероятнее всего, читала Г. Манна на языке оригинала. В прозе “О Германии” упоминается о чтении ею в Вайсер-Хирш романа “Zwischen den Rassen”. Пространный ее отзыв о трилогии “Богини” и других произведениях писателя см. в письме к М. А. Волошину от 5 января 1911 года; в нем она, в частности, писала: “Если хотите блестящего, фантастического, волшебного Манна, — читайте “Богини”, интимного и страшно мне близкого — “Голос крови”...” (“Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975”. Л. “Наука”. 1977, стр. 159).

3 Пристрастное отношение к Германии, представителям ее культуры и всему немецкому образу жизни Цветаева продекларировала в прозе “О Германии”.

4 D’Annunzio — Д’Аннунцио Габриеле (1863 — 1938), итальянский писатель, сторонник идеи “сверхчеловека” и диктатуры “сильной личности”.

5 “Огонь” — роман “Il fuoco” (1900); в России был опубликован под названием “Огонь жизни” (Пер. Е. Д-ва. СПб. Ред. “Нового журнала иностранной литературы”. 1901) и под названием “Пламя” в двенадцатитомном собрании сочинений Д’Аннунцио (Т. 7. Пер. Э. Венгеровой. СПб. “Шиповник”. 1909). “Наслаждение” — роман “Il piacero” (1889); вышел в указанном Собрании сочинений (Т. 5. Пер. Е. Летковой. [Б. г.]) и отдельным изданием (Пер. Е. Роговиной. Под ред. Ю. Балтрушайтиса. М. “Идея”. 1908). “Девы скал” — роман “Le vergini delle rosse” (1895); в русском переводе выдержал несколько изданий.

6 О своем отношении к книгам Цветаева горячо высказывается в письме к М. А. Волошину от 18 апреля 1911 года; среди прочих немаловажно такое ее признание: “Книги мне дали больше, чем люди. Воспоминание о человеке всегда бледнеет перед воспоминанием о книге, — я не говорю о детских воспоминаниях, нет, только о взрослых!” (“Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975”, стр. 164).

Ниже публикуются еще два стихотворения юной Марины Цветаевой. Одно из них навеяно общением с Петром Юркевичем, другое обращено непосредственно к нему.

Если слышишь ты в сердце малиновый звон,  
Переливчатый звон с колокольных высот,  
Это подвиг пришел, это он, это он,  
О, иди, он зовет, он зовет!  
Это подвиг в венце лучезарных лучей,  
Светозарных лучей ярко искристый свет,  
Это отклик на стон, это верный ответ  
На загадку бессонных ночей.  
Если рвется в восторге безумном душа,  
Если рвется безумно в простор голубой,  
Ты узнаешь, что жизнь — это радостный бой,  
А что смерть хороша, хороша.

[1908.]

*Прежнему Понтику*

В наших душах, стоявших на страже,

Вдруг при встрече растаяла мгла.

Было странно и радостно. Чья же,

Чья же тень между нами легла?

Я не скрою: мы были капризны:

(Всё обида сердцам молодым!)

Под дыханьем больной укоризны

Нашей дружбы развеялся дым.

В спорах злы, в объясненьях неловки,

Мы расстались без трепета рук.

Вашей темной, кудрявой головки

Я ценила упрямство, мой друг.

Всё, что ценно, — непрочно и хрупко,

Мы живем, к<а>к велит ветерок...

Только помните, друг, не уступка

Эти несколько ласковых строк!

Я нечаянно прошлого зонтик

Приоткрыла: мечта — расцвела...

Чья же тень, расскажите мне, Понтик,

Между нами, родными, легла? —

31-го Августа 1909 г. Таруса.

**АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА**

**НИКОЛАЙ МИРОНОВ**\*

*В “Новом мире” проза Анастасии Ивановны Цветаевой появилась впервые в 1930 году. Тогда был опубликован ее документальный очерк о М. Горьком (под псевдонимом А. Мейн, девичьей фамилией матери). По ее словам, этот очерк был своего рода выражением благодарности Горькому, который заступился за арестованного друга Анастасии Ивановны, поэта Б. М. Зубакина (см. о нем в новомирской публикации за 1992 год, № 7).*

*Долгие годы Анастасия Ивановна в советских журналах более не печаталась, она была, как говорили ей тогда собратья писатели, “слишком идеалист”... В 1937 году арест и — свинцовая тяжесть лагерного забвения. После реабилитации А. И., в 1966 году, в “Новом мире” вышли фрагменты воспоминаний о детстве, обратившие на себя общее внимание; фрагменты выросли в книгу, которую со страниц того же “Нового мира” (1972, № 6) приветствовал П. Антокольский, называя ее “удивительной, вдохновенной”, “прозой, насыщенной электричеством памяти”.*

*И вот теперь, когда старейшей писательницы России уже нет в живых (она скончалась в сентябре 1993 года в возрасте почти девяноста девяти лет), мы вновь возвращаемся к ее мемуарной прозе. Ведь за пределами “Воспоминаний”, выдержавших три отдельных издания (в 1995 году в издательстве “Изограф” выходит дополненное четвертое), остается еще немало замечательного мемуарного материала, все еще неизданного. К не опубликованным полностью (лишь в небольших отрывках) относится и глава “Николай Миронов”.*

*Сохранилась фотография — две сестры, Марина и Анастасия Цветаевы, и меж ними — молодой мужчина в котелке, большеглазый, со странным, но очень выразительным обликом. Это не кто иной, как Н. Н. Миронов (1893 — 1951), уроженец Вязьмы, сын потомственного почетного гражданина, поступивший в 1912 году на юридический факультет Императорского Московского университета.*

*О Миронове есть упоминание в книге А. И. Цветаевой “Неисчерпаемое” (М. “Отечество”. 1992), в главе-новелле “Детские французские песенки” — о том, как “Леля Миронова 4-х лет и Коля, брат, на полтора года младше” в раннем детстве пленялись ритмом музыки-поэзии... Там же говорится о цыганском происхождении детей по отцу: “Их бабушку, цыганку, певицу, выкрал их дед — цыгане тогда жили в Грузинах — и женился на ней”. С материнской стороны у Миронова была и немецкая кровь.*

*Н. Н. Миронов стал самой большой страстью всей жизни А. И. Цветаевой. Она в мистической новелле “Непонятная история о венецианском доже и художнике Иване Булатове” (“Неисчерпаемое”, стр. 168 — 175) рассказывает, как в тридцать девять лет возобновила игру на рояле и даже начала брать уроки. Анастасия Ивановна говорила, что причиной этому была трагическая необходимость “потопить” в звуках вспыхнувшее вновь, как в юности, чувство. Тогда, уже через много лет, Миронов вновь появился в Москве, приехав из Владивостока, где имел свою шхуну (ходил на ней в Японию, шхуна называлась “Конек-горбунок”). В юности Миронов, до приезда в Москву, окончил гимназию и жил в Иркутске; отсюда строки из лагерного стихотворения А. И. Цветаевой “Есть такие города на свете...”: “То Иркутск, / Там Коля жил Миронов, / Юности моей девятый вал!” В сборнике стихов Анастасии Цветаевой, что готовится к выпуску в упомянутом издательстве “Изограф”, можно прочесть стихотворение об их первой с Мироновым встрече:*

**Николаю Миронову**

Все, как в старинной балладе поэт:  
Замок, камин, вино.  
Горечь моих восемнадцати лет.  
(Юность и горечь — одно!)

В бархатной куртке, кудри до плеч,  
Вальсом коньки звенят.  
Взгляд горделивый, веселая речь, —  
Грусти смертелен яд...

Двери раскрылись. Вошла. Побледнел.  
Диана Вернон и Роб-Рой.  
Эрос. Психея! Сам Бог повелел!  
Краток любовный бой.  
Он мне сказал:

“Вас любить — мой удел,

Маленький лорд Фаунтлерой!”

Волос и голос цыгана. Молчит.  
Взор твой крылат — моряка.  
Эрос! Психея! Не прав Феогнид, —  
Солнце любви над миром горит,  
В руку легла рука.

День тот поныне — и я ль отрекусь —  
Солнцем над миром стоит.  
Пунша любви божественный вкус,  
Кубка таинственный вид.

Пренебрегая горою обид,  
Гордо иду сквозь их строй.  
В сердце навеки отвагой горит  
Маленький лорд Фаунтлерой!

*Здесь в афористическом, поэтическом наклоне отражены некоторые события главы-воспоминания.*

*В комнате А. И. Цветаевой все последние ее годы стоял большой, больше других, портрет Н. Миронова в позднем возрасте. С его же образом мы встречаемся и в автобиографическом романе Анастасии Ивановны — в “Amor’e” (М. “Современник”. 1991). Там рассказана история этой любви: ее невозможностей, прорывов, расставаний и немыслимо страстных встреч...*

*Вот как о них — в романе: “Прямо ко мне, шагом, крупным и твердым, полоща в ветре полы шинели, переходит пути человек в военной папахе. Помню его черноту, ее нет — папаха серая, весь в хаки, военный цвет. Одни брови черные! Забыла, что так улыбается... Что так сияют глаза: мрачной и восхищенной нежностью, в ней спаялись Рогожин и Мышкин... Я просто забыла Миронова. Стою, онемев. Чувствую ровно столько, сколько надо, чтобы сойти с ума. Сесть в поезд с ним и никогда не вернуться...” Но тогда чувство еще не дошло до апогея, а после оно чуть не стоило А. И. Цветаевой жизни — ее второй муж, Маврикий Александрович Минц (1886 — 1917), отчаявшись, хотел дать яду ей, их сыну Алеше и себе, но сдержал руку, не совершил непоправимого. А она — она любила их двоих: одного страстной, другого — родственной любовью, и в том была трагически-мучительная сложность. Любовь же Николая Миронова к Анастасии Ивановне была безмерна, но с такими долгими — на годы — расставаниями...*

*Что до Марины Ивановны Цветаевой, то и она, вслед за сестрой, пленилась Н. Н. Мироновым. Когда Марина Ивановна уезжала за границу из Москвы, Анастасия Ивановна в ее разоряемой перед отъездом квартире среди всевозможных бумаг заметила записную книжку, дневник, она раскрылась непрошенно, на странице, где описывалось, как открылась дверь и стремительно вошел Н. Миронов с большим псом... А далее — судя по тональности предшествующих строк — должно было рассказываться о том, как... Но таков уж у Цветаевых характер, что младшая сестра, поняв, о чем пойдет речь, запретила себе читать дальше и никогда ни Марине, ни — при последующих встречах — ему не обмолвилась об их тайне.*

*Строки стихотворения Марины Цветаевой “Рок приходит не с грохотом и громом...” поставлены эпиграфом главы. Первое слово стихотворения в передаче А. И. Цветаевой не “рок”, а “жизнь”. Есть все основания считать, что именно таков и был первоначальный авторский вариант. Нельзя, однако, забывать, что глава о Миронове — это сокращенные и несколько измененные автором извлечения из всего корпуса воспоминаний, где в большом разделе под названием “Александров” (до сих пор не опубликованном) излагается история, с этим стихотворением, видимо, связанная. Считается, что оно обращено к Никодиму Плуцер-Сарна (1881 — 1945), другу второго мужа А. И. Цветаевой, М. А. Минца. В то время он был “адресатом” немалого числа стихов Марины и предметом ее небезответного чувства... Между тем из рассказа Анастасии Ивановны следует, что стихотворение хоть и было, в числе других, посвящено Н. Плуцер-Сарна, но вдохновлено внезапным появлением Н. Миронова, нежданно пришедшего к М. Цветаевой как раз во время разговора о нем.*

*“И как в саму жизнь, в еще не испытанное, мы провалились в Никодима в тот вечер, и Марина рассказала ему обо мне и Борисе (Б. С. Трухачеве. —* ***Ст. А.****), обо мне и Боре Бобылеве, обо мне и Миронове, и он все понимал, впивал, и случилось необычайное — но оно и не могло не случиться в тот вечер: только Марина стала кончать свой рассказ — вошла горничная, полька Соня, и сказала: “Барыня, вас и Анастасию Ивановну спрашивает офицер Миронов”...*

*Если и был романтиком Никодим, рассудок все же держал его в плену. “Как, — сказал он после Марине, — это на самом деле было для Аси и для вас неожиданно? Вы не знали, что он придет, когда о нем рассказывали?! Прямо с фронта? И как раз в ту минуту”, — и уже провожаемый Соней, через столовую под фонарем потолочного окна, навстречу мне входил через темную проходную Коля Миронов, и сиянье встречи вспыхнуло в Марининой комнате — зарницей. Все тот же! Уж потерта гимнастерка и будто бы еще похудели щеки, а их и раньше не было — один остов лица, но те же глаза, темно-темно-золотые, <...> тот же их взгляд — медленного и пристального любования, восторга, преданности и те же брови... Мои руки в его руках — моя рука у его губ — и жизнь моя провалилась куда-то — это все та же наша первая встреча в переулке Собачьей площадки; трех прожитых лет как не бывало, все — с плеч!*

*Стихи Марины тех дней:*

Жизнь приходит не с грохотом и громом...”

*Таковы небезынтересные подробности, связанные со стихотворением М. Цветаевой. Основной же смысловой узел публикуемого фрагмента ложится на отражение трагических настроений, охвативших культурный слой русского общества в годы первой мировой войны. Самоубийства тогда стали ежедневным достоянием газетной хроники. Об этом рассуждали ученые-психологи; об этом Михаил Арцыбашев написал свой известный в то время роман “У последней черты”, герой которого, офицер Краузе, кончает с собой, потеряв всякий вкус к жизни... А студента Бобылева подталкивает к “последней черте” его “неразрешимая” любовь. Обратим внимание на фразу А. Цветаевой, обращенную к подруге ее брата Андрея — В. И. Топольницкой: “Все очень страшно”. Чувство оставленности, брошенности в те дни доходит у нее до предела. Потом оно изольется на страницах первой ее философской книги “Королевские размышления. 1914 год”, лейтмотив которой: “нас бросили в этот мир и забыли”... Тени событий, происходивших тогда, найдем и во второй ее книге — “Дым, дым и дым. 1916” (М. 1916). Например: “Куда мне идти? У Л<идии> А<лександровны> (Тамбурер — подруги покойной матери. —* ***Ст. А.****) прием. К Марине? Но там мне так ясно видится Б<обыле>в, в зале на этажерке стоит золотая корона, которую мы клеили для его маскарадного костюма”. Или: “Я каждый день ездила на могилу Б<обыле>ва, ставила цветы, смотрела, горит ли лампадка, и говорила со сторожем. Когда он уходил, я становилась на колени и целовала влажный песок холмика. Было тихо...”*

*Текст печатается по оригиналу, предоставленному автору этих строк Анастасией Ивановной Цветаевой незадолго до ее кончины.*

...Жизнь приходит не с грохотом и громом,  
А так: падает снег,  
Лампы горят. К дому  
Подошел человек.  
Длинной искрой звонок вспыхнул,  
Взошел. Вскинул глаза.  
В доме совсем тихо  
И горят образа1.

*М. Цветаева.*

Я возвращалась домой по пушистому снежку Арбатским переулком, неся торт. На мне была черная плюшевая шубка, подарок папы. В окнах Бориса2 я еще издалека увидала огонь. Лампа кидала мягкий отсвет неравно освещенных окон на снег, делавшийся золотистым. Ботики весело топали по снежку. Минуя горести, безысходности и печали, мои восемнадцать лет дышали легко и радостно в этот зимний вечер, отчего-то беззаботный и светлый под черным ночным небом. Я позвонила. Кто-то бежал отворять по коридорным ступенькам. Боря Бобылев!3 Зеленая студенческая тужурка, стройный рост, добрый взгляд серо-голубых глаз, тонкие черты юношеского лица. Высоко стоящие над высоким прекрасным лбом волнистые темно-русые волосы. Какая преданность в улыбке полного чистого рта. Мальчик мой! Мой чудесный друг... Юный, еще не коснувшийся бездн. Благословен да будет твой путь!

— Боря дома? У нас есть вино. Берите торт! Я немножко замерзла! Камин затоплен?

Я входила в крошечную переднюю, увешанную, густо, шубами.

— Миронов приехал! — сказал Бобылев, снимая с меня шубу. Его лицо сияло. Навстречу нам шел мой Борис, движеньем лба отбрасывая длинные легкие волосы, золотые. За ним был еще кто-то. Ниже обоих Борисов навстречу шел человек, незнакомый, тоже в студенческом. Но тотчас же пропали и зеленый цвет формы, и рост, и факт незнакомства — были одни глаза, карие, широкие, длинные, и как ласточкины крылья — раскинутые черные брови. Они длинным взмахом своим продолжали взгляд, и это был один миг, но мои глаза утонули в нем, и рука обняла мою руку — большая, теплая, сдержанно-чужая рука. Я увидела прямой пробор черных волос, прямой большой нос и маленький рот, одновременно добрый и твердо сомкнутый.

— Миронов4, — сказал он, и это одно слово не погрузилось в шум голосов, а подержалось в нем, как лодка на узоре воды.

Затем вечер пошел своим чередом, и первое впечатление, странность его — потухла, отошла куда-то назад, разумно и равнодушно, как случайное, недостоверное среди таких двух достоверностей, как Борис и его друг Боря, прочно живших в душе. Но я отметила и в этот, и во все следующие его приходы, что он совсем другой, чем они оба. Он меньше говорил, речь его была совсем иначе построена, он говорил о вещах гораздо более простых, веселее и спокойней, чем оба его друга, и казался мне менее интеллектуальным. И был в нем покой каких-то более взрослых лет, чем их лета, а он был их возраста. Он был мне много более чужд, чем они. В его широком, всегда неожиданном, отличном от их юморе было несходство с тем, что я любила. И держался он от меня отдаленно, в этом не было возможности дружбы. Миронов был просто совсем другой человек, чем Борис и чем Бобылев. Я не совсем понимала их близость. Он часто говорил о Сибири, которую любил каким-то обожаньем, рассказывал о Байкале с таким затаенным восторгом, который был мне чужд. Позже Марина сказала мне о нем: “Миронов любит природу как-то вне своей души, какой-то одержимой любовью”. В этих словах Марины был тот же оттенок далекости от такого, какой был во мне.

Но не помню, в первый ли вечер после вечера, камина, торта, вина, засыпая — или в другую ночь я вспомнила вдруг из моего четырнадцатилетия то лицо, виденное с Мариной на спектакле в театре Корша: оно принадлежало человеку, стоявшему за роялем и глядевшему на ту, которая играла, на женщину, несчастную в доме мужа, которая потом, схватив канделябр, подожгла дом. Он глядел на нее над клавишами неотрывным, “неотвратимым взглядом”\*. У него был прямой пробор черных волос, тоже, как крылья, были раскинуты брови над огромными темными глазами, лицо из сумрака глядело бледностью, худобой, резко сужено книзу. Это было лицо из сна. Пьеса называлась “Эрос и Психея”5.

Рождественские каникулы. Бобылев чаще бывал у нас — лекций не было. Почему в карнавальном маскараде я не помню ни Бориса, ни Миронова? (Я звала его “Николай Николаевич”.) Марина и я шили костюмы: себе — два костюма пажа (шаровары, бархатные пелерины, береты со страусовым пером, чулки, туфли с пряжками). Пелерины (полуплащи) — темно-малиновые. У нас кудри и маленькие блестящие шпаги. Бобылев — король, его одеяние зеленовато, на голове — картонная корона, оклеенная листовым золотом. Он очень хорош. Я не помню других костюмов, но с нами едут и Эфроны, и Пра6. Куда?..

В какие-то незнакомые мне дома. Мы танцуем вальс. Марина в костюме пажа — восхитительна. Ее лицо римского отрока оживлено нежным румянцем. Она прелестно танцует вальс, преодолевая застенчивость. В ее румянце нет оттенка грубых румянцев: кирпичности. Ее щеки похожи на лепестки роз, дышащих легчайшей тенью малиновости, светлой. Мне чудится, за далью лет, Сережа в костюме принца. Но не более явно, чем сон.

Когда мне бывает тяжело, одиноко, смутно, я еду к Марине.

Мы, как всегда, много рассказываем друг другу, много смеемся. Идем в детскую, любуемся Алей7. Ее глаза еще много больше, чем были Андрюшины8, — у нее *огромные* глаза, светло-голубые. (У Андрюши — темно-серые) Аля плачет басом. Она очень упряма. С кормилицей опять нелады, снова придется ехать в контору. Она очень неряшлива, капризна, не умеет ухаживать за ребенком. В доме уютно. Маринина узкая комнатка в два окна — рядом с Алиной детской; наверху еще кладовая, в которой нет ничего, кроме веревок с Алиными пеленками. Кормление Марина бросила с большой радостью, оно ей не далось. Ей непонятна моя печаль, что пришлось бросить кормить, и я не говорю с ней об этом. В ее жизни все сейчас хорошо. Но во всем, что тяжело в моей, она мне сочувствует и всегда (и Сережа тоже) старается меня утешить.

Андрюшина кормилица — милая, ласковая, миловидная (помнится, Феня?) — вполне незаметно увезла из сундука почти все мое приданое.

Это было совершенно невероятно. Но, открыв сундук одним из ключей, которые я всюду бросала, я удивленно уставилась в его открывшиеся глубины: сундук был на три четверти пуст. Ни стопок полотняного, еще маминого приданого, белья, простыней с ее метками, ни материй — и разостланных и штуками, закатанными на палках, ничего из составлявшего главное содержимое большого кованого сундука. Прибежавшая на мой зов няня (“старая няня”) всплеснула руками. На нее было больно смотреть.

— Добросались связкой ключей! — причитала она, — разве в нынешний век советов старших слушают? Сколько раз я вам говорила: спрячьте ключи! — нет!..

— Да что ж я, ключница, что ли, ходить с ключами и думать о них? — отвечала я, — я же не Плюшкин (я вам о нем потом расскажу!) — но главное, няня, чтоб не узнал *папа*9! Для него это будет беда — столько лет хранил мамино... Научите меня, как от него скрыть?..

— Она, она это, — шептала старушка, — говорила я вам: не раскрывайте при ней сундук! Нет, *всем* верите! А она...

— Но она же *милая,* добрая, я ее так полюбила...

— Вот она, добрая-то, на поверку и выходит подколодная змея... Ах, негодная! Хорошо, что вы-то мне верите, знаете — я господское, как свое, берегу, у графа Сергея Львовича10 все добро на моих руках было. Шестнадцать лет я у них прожила... А она, негодная, польстилась, да и на меня тень...

— Няня, перестаньте! У нее молоко пропадет со страху... Ее надо спросить *потихонечку* — мне Андрюша дороже!..

И вот, после беседы старой няни с кормилицей, у моих ног лежит молодая, кроткая, милая женщина — в рыданьях! *не веря* моему обещанию не отдавать ее в полицию! Отчаяние нас обеих — равно. *Мое* звучит так: “Умоляю вас, перестаньте плакать! У вас испортится молоко! *Пожалейте* маленького! *Он-то* чем виноват? Неужели ж вы *мне* не верите? Я же даю вам слово! *никто* не узнает! и *никуда* я вас не отправлю, в деревню — тоже. Будете жить, как жили. Кормить. Но войдите же в *мое* положение: отец берег все эти вещи, еще моей матери, много лет! Мне они дороги — память матери! В вас же есть сердце?! Няня правильно выдумала: поезжайте с ней, куда вы их увезли, и что еще *цело* — будьте же честной! — привезите назад. Чтоб хоть не так пусто в сундуке было — чем я его наполню, если отец скажет: “Открой-ка, покажи материи мамины! Тебе надо сшить платье!” Господи! Перестаньте же плакать, встаньте сейчас же, успокойтесь, умойтесь... *Молоко* пропадет!” Ее отчаяние *так* звучало: “Бес попутал! Сестра уговорила! Чтоб ей на том свете... Отродясь нитки чужой не брала!.. Нет, открой да возьми, спрячу, никто не узнает... Она ж мне как мать!.. характер у ней — и не приведи Бог! Сгубила она меня, окаянная, пропаду я теперь в полиции, под каторгу меня подвела...”

Так мы дуэтом говорили — сколько хватило сил.

Они съездили на квартиру к сестре и привезли две вещи: рулон серебристой материи, уцелевший, и дешевую аметистовую (мою любимую, мной купленную) брошь. А молоко у Фени со страху пропало, и Марина снова поехала со мной в контору.

Наступал новый год: 1913-й. Нашим первенцам было — моему четыре с половиной месяца, Марининой дочке — без малого четыре. Уж горели их первые елки. Они глядели во все глаза на горение и блеск, еще не понимая. Через год это уж будет *их* праздник с радостно схваченными елочными игрушками. *Эти* елки — еще во мгле...

Был вечер, снег, метель. Вернувшийся Борис и Боря Бобылев (это мне поздней рассказывал Борис), выйдя из нашего домика, шли по тихому переулку.

Им навстречу из снежной смуты, из полутьмы вынырнуло женское лицо. Увидав чье-то из их лиц, первое выплывшее из тумана-метели, она крикнула звонко и требовательно, колдовским правом гаданья:

— Как имя?

Но уже выплыло и второе лицо, оба на одной высоте.

— Два Бориса! — крикнули они в ответ, не уменьшая шага, летя по своему пути. Затем кто-то из них опомнился. Продолжая игру, мужской голос кинул вслед с тою же требовательной повадкой:

— А ваше имя как?

Из сомкнувшейся за нею метели донеслось явственно — и уже затихая, тоже — она спешила прочь:

— Анастасия!

Борис сказал мне, что это слово их потрясло, они шли плечо к плечу, молча, и каждый знал, что сердце рядом забилось тем же волнением нежданности — и сужденного...

Они купили вина и долго пили его в тот вечер, не вступая в рассуждения о жизни, не дивясь и не споря, приняв голос как необъяснимую данность, как таинственный перст судьбы11.

Марина встретила меня в состоянии такого смеха, что и мой приезд не остановил его. В другом углу комнаты, с толстой книгой в руках, слегка покачиваясь на длинных ногах, — Сережа хохотал все новыми и новыми взрывами.

Переждав пароксизм, я села слушать: Марина, отвращаясь от изобретения блюд для обеда и ужина, заказывая прислуге еду на завтра, велела ей сделать номер такой-то второго блюда, дав ей (прислуга была грамотная) — Елену Молоховца12.

Покорная женщина списала себе на бумажку этот следующий номер и пошла в лавку. В лавке нужного не оказалось; из лавки в лавку ходила бедняга, расстраиваясь, что опаздывает к обеду это будущее блюдо изжарить. Наконец, отчаявшись, она в слезах возвратилась домой, но, доложив хозяевам случившееся, она была поражена неожиданной для нее реакцией, объяснимой, видимо, их молодостью: они так смеялись, что падали.

В книге, распахнутой Сережей на заказанном, не глядя, номере жаркого, стояло: “Задняя часть дикого вепря”13.

Марина в своей комнатке во втором этаже на фоне стены с портретами Наполеона и его сына.

— Знаешь, в нашем издательстве, которое мы с Сережей выдумали — “Оле-Лукойе”14, — я тебе говорила? — я хочу выпустить маленькую книжку стихов — выбранное из двух книг. Обдумываю предисловие. Сережино “Детство”, рассказы, где он пишет о себе и о Котике... — Она прерывает себя: — Температура у него не в порядке, я так беспокоюсь, что опять вспыхнет процесс. Ему же нельзя заниматься — столько! — а он вбил себе в голову непременно весной сдавать на аттестат зрелости. Я понимаю, надо, конечно, но зачем же так скоро? Столько предметов, постоянное умственное напряжение... Я его уговариваю отложить на будущий год. Разделить труд на две зимы — не полгода, а полтора года, понимаешь? Ведь ему же мало лет, он же на год моложе меня, девятнадцать! Ты, конечно, знаешь, что он родился тоже двадцать шестого сентября?

— Ты уже ходила и говорила, столько уже понимала — а он только родился! Как это теперь странно кажется, правда?

— Он тоже очень рано начал говорить!

— А из них только он болеет туберкулезом?

— Нет, его старший брат — Петр — тоже...

— Он — актер, да? Что, он на них всех не похож, что ли, что они как-то странно к нему относятся?

— Не знаю. Может быть, оттого, что рано женился на какой-то неподходящей женщине, — она его не любила, наверное, то есть не *так* любила! Он давно уж живет отдельно...

— Лиля и Вера как-то никогда о нем не рассказывают, — сказала я, — как будто избегают говорить: плохого не хотят, а хорошего...

— Да-а... — Марина отбросила привычно свои уже отросшие, на концах вьющиеся волосы, — пойдем Алю посмотрим, хочешь?

Мы стоим перед (которой?) кормилицей, с важностью, ревниво глядящей на мать, держа великолепного ребенка с уже густеющими светлыми волосами. Над огромными голубыми глазами обозначаются бровки.

— Хорошее имя я ей выбрала? — задумчиво говорит Марина. — Ариадна...

Каток Патриарших прудов. Тот же круг льда15, та же будка, где желтеют трубы у рта музыкантов, и, может быть, играет тот же военный оркестр. В той же дрезденской длинной синей вязаной кофточке на тех же норвежских коньках, беговых, я вышла на лед, и моя восемнадцатилетняя рука держит руку Бориса, моего упоительного партнера по льду. Я ее держала шестнадцатилетней рукой! Мы старше на два года, и в нашем доме (какое чудо с тех пор совершилось! Я тогда ничего о его доме не знала, теперь у нас общий дом...), — и в нем — разве это не чудо, тоже? — растет *наш* сын! Еще только шестой месяц, а он с плеча его держащей смотрит иногда таким величавым взглядом, так умно и серьезно — смотришь, и не верится...

Мы сегодня в первый раз с *тех* встреч на катке — вышли на лед. Прошлая зима — Берлин, Женева, Ницца, Трайас... *Как* давно! Кажется, не год прошел, а пять лет!

Да, тот же вальс! Будто *коньки* дрогнули под нами (точно ноги циркового коня!), руки сами легли крестом меж нас, и мы несемся по льду в такт музыке. Мы молчим (мы не молчали тогда!).

Острый прилив тоски неслышно сотрясает меня, — я беспомощно сжимаю Борисову руку. Он отвечает пожатием. Мы пролетаем мимо Коли Миронова. Его глаза неотрывно смотрят на нас. На Борисе та же шапочка, желтая, меховая, так же — чуть набок... Тот же пиджак. Те же кудри у меня по плечам. Что же, что же стало — другое? Но ведь я же люблю его! В тот вечер, помнится, и Боря Бобылев был с нами. Они тоже были на коньках, он и Миронов? Или только Борис и я?

Когда я осознала присутствие Миронова в моей жизни?

Когда я впервые сказала о нем Марине? Не в тот ли вечер, когда мы все четверо — Борис, его оба друга детства и я — пошли в театр смотреть “Идиота”16. Это был театр Незлобина. Он был рядом с Большим театром, слева (напротив Малого). Мне кажется, это одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Они играли эту безумную вещь так, будто луч этого безумия пал на них со страниц Достоевского, и они — 3 часа? 4 часа? — жили в нем. Настасью Филипповну играла Жихарева, Мышкина — Асланов. Кто играл Рогожина — я не помню. Но это был Парфен Рогожин. А мы — мы — нас не было! (Как тому назад полтора года в Финляндии, когда Борис читал вслух 1-й том “Идиота”.) Теперь я, обещавшая год его не читать, чтобы папа встал от болезни, недавно его дочетшая, — вошла в этот второй том будто в домик на Собачьей площадке. И все перестало существовать...\*

Вот мы четверо пятьдесят лет назад, восемнадцати- и девятнадцатилетние, сидим, не чувствуя кресел (— земли!), забыв о театре, и живем меж Мышкиным, Рогожиным, Аглаей и Настасьей Филипповной до их конца.

Мы помним конец книги. Аглая, все пережив, ушла прочь от всех, за фанатиком проповедником. Лев Николаевич Мышкин вернулся в лечебное заведение, откуда, вылечась, ехал в начале романа. Он безнадежен. Он стал идиотом.

Нет, это не конец — послесловие. Конец — вот: затемненные окна большой (низкой?) комнаты. Вечер, ночь, утро? На полу, сняв с дивана составляющие его спинку подушки, пристроились — до окончанья веков — Рогожин и Мышкин. Фон — занавесы алькова. Там над чем-то, что было их жизнью, жужжит муха. Там — недвижно.

Заикаясь (один), другой в начинающейся горячке — сидят вместе, шепчась, вспоминая. Тот садовый кривой нож. Ее. И хоть они живы еще, но и их уже нет, как ее. Жива одна муха над телом. И ночь слушает стук двух сердец человеческих над тишиной смерти.

Мы поднялись не чувствуя ног, вместе со всем театром мы вышли в эту московскую ночь. Мы шли по своим судьбам, по своей смерти, по той тишине ночи. Четверка в одну упряжь впряженных коней, мы шли молча, и молча на нас с высоты Большого театра глядела четверка взлетевших, онемевших коней. Мы прошли пол-Москвы, не ища, как проехать, подошли к маленькому парадному домика № 8. Кто-то нажал кнопку звонка. Кто-то нам отворил. Мы вошли. Кто-то снял с меня шубу, повесил. Глаза Миронова неотступно смотрели. Мой Боря или мой второй Боря зажег камин. Только пламя открыло наши глаза, отомкнуло уста. Оно нам сказало, что мы навек обречены друг другу.

Я вернусь назад, я забыла: 2 января 1913 года.

После той встречи двух Борисов и Анастасии в новогоднем гаданье, после маскарада, где Марина и я были в костюме пажей, после недель (месяцев?) дружбы с Борей Бобылевым я написала ему письмо. Это было, помнится, восемь (?) страничек почтовой бумаги, и число — 2 января — стояло в начале. Помню это число до сих пор. Я жалею, что не помню это письмо как надо, потому что это был документ человеческой безысходной печали и нежности, голос Психеи17, ищущей путь и в него уж не верящей. Это было воспоминанье о трагизме безнадежных бесед, о пожатии рук и тоске юных уст, не ищущих поцелуя. Это была встреча, и это было прощанье. И кончалось оно строчками Блока (которым я не увлекалась никогда так, как многие. Но эти слова мне звучали):

“Но в камине дозвенели угольки,  
За окошком догорели огоньки”18.

Камин — это было сердце нашего дома — Борисова, моего и его двух друзей детства. Это была печать к письму.

Я отослала его — и забыла, среди ежедневных метаморфоз встреч и прощаний, среди печалей и восхищений, забот и усталостей дня. Будет день, когда я его вспомню.

Приходила Маруся, сестра Бориса. Она была полна собой (своим несчастьем)19. Прелестна. Она знала друзей брата с детства (думала, что их знала), глядела мимо них, к будущему. Ей, как и многим из нас, оставалось недолго жить. Может быть, человек это подспудно знает?

Потом Боря Бобылев принес мне пузырек с белым порошком. Это был цианистый калий. Может быть, он и я захотим когда-нибудь, скоро? Мы говорили о том, почему нельзя умереть в вальсе? Исчезнуть, перестать быть? “Опьянение, опьянение...” — слова Милы и Нолли20 в сказках Вагнера “Кота Мурлыки”. Они летели на ланях над пропастью.

Я сижу на коленях перед горящей печкой и сую в нее лист за листом мою повесть21, любимую, росшую, расцветавшую. Я ее кидаю в огонь, не сказав Бобылеву, который ее читает с восхищением, повесть о всех нас. Я ее жгу, потому что схватила за сердце безумная жалость к моему Борису, холодному, одинокому, которому не могу помочь, потому что он отвергает помощь. Я все реже молюсь, все отчетливее отвергаю Бога, но я чувствую какую-то судьбу вокруг нас и в ее пасть — как непонятное, но несомненное приношение — бросаю то, что мне сейчас всего труднее отдать, — эту стопку листков.

Они скручиваются в легчайшем танце темной воздушной скорлупкой — и их нет. Так не будет и нас. Тютчев. “Бесследно все — и так легко — не быть!”22

Я встаю, радостная, с колен.

— Борис, в путанице чувств, лиц, взглядов, иронических и нежных слов я нашла один ясный поступок — отдала, ради вас, свое полюбленное создание. Это было *так* трудно! Но я решила и делала это в восторге. Это должно вам помочь! Вы разлюбили мои писанья, которые вы так слушали два года назад (еще нет двух!). Но их любит ваш Боря. (Это будет удар ему...)

— Зачем вы сделали это?! — сказал мне, узнав, Боря Бобылев в яростной горечи. Взволновавшись, ходил по комнате. Я просила его надписать мне — его фотографию. Он надписал: “Пусть все сгорит! Б. Б.”. Это ли было началом нашей размолвки?.. Как могла меж нас быть — размолвка? Я еще помню слова Бобылева: “Вы думаете, я потому страдаю, что вы стали более внимательны к Миронову, говорите не только со мной, но и с ним? Ася, я *могу* принять это! Но когда вы не мне теперь, а ему даете подержать ваш браслет (когда браслет вам на минуту мешает) — вот это мне *боль!!*” (“Как маленькие вещи — *больше* больших!” — писала я поздней, в моей первой книге...) С браслетом же (бабушкиным, золотым, состоявшим из крест-накрест звеньев то расходящихся, то смыкающихся вплотную, как резной заборчик) было так: я никогда не позволяла то, что легко допускали многие женщины, — чтобы кто-то надевал и застегивал им ботинки. Поза мужчины, ставшего на одно колено перед женщиной и занятого ее обувью, была мне просто комична, безвкусна, немыслима. Я ботинки надевала сама, но в это время браслет, соскользнув к запястью, широкий вокруг него, — мешал; и я, перед тем как нагнуться, привычным движением снимала браслет и давала его Боре. Раза два, может быть, протянула его Миронову. Об этом и сказал Бобылев.

И была еще брошь, скромная, из трех аметистов, которую вернула мне после кражи Андрюшина кормилица. Аметист — по тогдашним календарным поверьям — “спасает от вина”. Я не любила, когда Борис с друзьями пили вино. У камина, со мной, одной бутылки легкого десертного хватало на всех, с тортом. Но без меня, одни, молодые мужчины пили больше, могли выйти за предел. Никогда не выходили, но я чуждалась этого, не любила. И я давала Боре Бобылеву носить эту брошь — заколов галстук, “спасти” его от вина. Он был неосторожен: пил валерьянку — целым пузырьком, пробовал составы химических опытов... Так давно жил без матери!

Бобылев не был у нас несколько дней. Размолвка.

Я с Мироновым стою в цветочном магазине на Никитской, выбираю цвет гиацинта: лиловый, голубой, бледно-розовый? Мы едем к Боре, взбегаем по лестнице нового дома. Его нет. Комната не заперта. Мы ставим горшочек с гиацинтом на его стол, я пишу записку: почему не приходит? С радостным чувством, что протянута пальма мира, спускаюсь по лестнице. Мы никогда не говорим ни о чем внутреннем с Мироновым. Он рассказывает что-то веселое, странное. Иногда — о Сибири... На душе, как всегда, когда кто-то рядом внимательный, — легко.

Марина тончайшим образом понимает различие Бобылева и Миронова. Как я, она нежно заинтересована обоими. Понимает меня с полуслова. Она и Бориса любит, чувствуя всю трагичность невозможности прочных отношений с ним. Иногда она и Сережа приезжают к нам. Все сидим у камина, пьем чай, вино, едим сладкое. Говорим о наших детях, проходим к Андрюше в детскую, смотрим на него, сравниваем его с Алей, рассказываем друг другу о всем новом в них за последнее время. И на час все кажется хорошо, как должно быть, даже весело. Когда оживленное приветливое лицо Сережи, укутанное в высокий воротник дохи и в боярскую шапку, и нежное, как лепесток розы, Маринино лицо, из меховой шубки и шапочки, — все, спеша, исчезает во мгле вечера, — я всхожу по ступенькам парадного хода во мгновенном ощущении, что моя жизнь — фантасмагория, что я совсем одинока...

Туманно помню мое свидание с Галочкой, Галей Дьяконовой23. Затем ко мне приезжает гостить из Тарусы подруга моих отроческих лет Кланя Макаренко24. Она не понимает сложности отношений всех нас, ей у нас весело, ей нравится моя жизнь, эти милые молодые люди — мой муж и его друзья, я поддаюсь этой целительной простоте, отдыхаю с Кланей, молодею.

В ответ на гиацинт и записку Боря Бобылев пришел к нам; провели все вместе вечер, пили вино из недавно купленных на Кузнецком широких фужеров цветного, отливающего мыльным пузырем стекла; через соломинку. Не могу вспомнить: в этот ли вечер мы почему-то ждали, что Бобылев уйдет (он был смутный, несколько отдаленный, нервный), и после него пили вино — Миронов, Кланя, Борис, я, или был еще один вечер вскоре, когда Боря Бобылев пробыл с нами до позднего часа, ушел и мы легли спать? Память уж не вернет точности тех дней. Но обиду (за что?) ему этим вином после него — мы совершили. Никогда не узнаю, в последний ли его день.

Утром меня будят. Усталую, сплю. Просыпаемся вместе с Кланей. Голос, меня будящий:

— Вставайте скорей! Борис Сергеевич отравился!

— Какой?! — вскакиваю в ужасе.

— Бобылев!

— Жив?

— Нет. Умер!25

Хватаю вещи, одеваюсь. Зуб на зуб. Четкое решение, тотчас же — туда. Одной. Опережаю Кланю, Миронова, Бориса, бегу по улице. Пересекаю Арбат, вбегаю в Кривоарбатский. На какой-то этаж. Жизнь оборвалась. Замерла.

Боря Бобылев лежит на спине на кровати. Глаза закрыты, очень опухшие губы. Он отравился цианистым калием, но выпил слишком много. Это сказали студенты, жильцы квартиры — медики. Полтора часа жил, захлебывался кровавой рвотой. У них не было денег на кислородную подушку, и не знали адреса Бобылевых (где-то близ Арбата же) — отец, мать, брат. Ни нашего — переулок по ту сторону Арбата. Горничная нашла мокрый от слез платок на (шкафу, комоде?). Придя поздно от нас, долго играл на скрипке. А когда выпил яд и не умер — вышел к студентам, сказал: “Товарищи, помогите. Я отравился”. Сознательно выпил? Пробовал, как не раз уже рискуя, изучая свой организм? Никто ничего не знает.

Он лежит спокойный, как спит. Высокий лоб, над ним высоко темно-русые волосы. Неузнаваем рот, вздуты губы. Его руки! Лежат невинно, на одеяле. Стою, смотрю, слезы льются, побарываю всхлипы. Трясет.

Подхожу к столу, ищу письмо, мое. Чтоб не в чужие руки. Нахожу. Вот оно! Беру. У конца его, вбок от моей подписи, приписка карандашом, Борина: “Упрекать Асю в том, что она женщина, значит не понимать целой, иной части ее души”. Читаю, складываю, возвращаюсь к кровати. Целую ли руку? Лоб? Оборачиваюсь: в дверях Борис. Стал в ногах, смотрит на друга молча, не сводя глаз. Долго стоим. За плечом его — догнал — Миронов. Стоим.

— Ну, с меня довольно! — говорит Борис, поворачивается, выходит. Миронов и я идем за ним. Давно ли мы шли после гибели Мышкина, Рогожина, Настасьи Филипповны? Гибель одного из нас...

Арбат. Почему-то весенний день. Идем тесно, молча.

Было 6 февраля 1913 года.

У нас. Комната моего Бориса. Камин. Мы трое. Кланя? Не помню. Мы сидим, как всегда, и тесная наша дружба, горем спаянная, безмолвная; возросшая нежность друг к другу есть замена присутствия Бори. (Их “Бобылик”...)

Борис подчеркнуто бережно добр ко мне. Я не таила от него любви Бори ко мне и моей к нему. Я не пряталась. Не лгала. Не лукавила. Все было на виду, явно. Все было Борису ясно, любовь его друга Бори ко мне — так понятна, упрекнуть можно было, только если бы мы обманывали или если бы перешли черту. Мы не перешли ее, даже не подошли к ней. Ни Боря, ни я не тянулись друг к другу физически. (Трудно поверить? Но — так. Боря был юноша. Я — и до него, до Бориса так долго отвращалась физической близости. Перешла черту только для Бориса и с ним. В эту область никто мною не был впущен. Жена, я была верна Борису. И он это знал.)

Удивительно: смерть одного из нас бросила нас друг к другу. Мы трое у огня, который увел четвертого, стали драгоценны друг другу, заставив задуматься и опомниться, увидать друг друга. И было странное чувство, что хоть Бори нет, а и он с нами в этом наставшем прозрении, в тишине и добре горя.

В эту тишину пришла вызванная Марина. Бледная, с закушенным ртом, с посветлевшими, заплаканными глазами — она села у огня, протянув к нему — погреть — руки.

— Он похож на Пушкина в гробу, — сказала она, — очень похож. Только — красивей! Его непременно снять надо. Не упустить — туда...

Кто ее свел к нему? Не знаю. Она слушает его смертную повесть, глаза — в огонь, и слезы капают из них неудержно (“Состояние ранености, — говорила она годы поздней о себе, — каменное лицо, и по нему истукански, идиотски текут слезы”).

Мы снова у Бори, все. Я не помню тех дней. Кто обмыл и одел его? Мать ли пришла, не любившая, от которой он ушел на квартиру; горничная ли?.. Как может это быть, что хоть полвека спустя — забыла имя ее, к которой потом, когда все стихло, “прошло”, — я ходила и ходила по этажам, чтобы посидеть у нее, еще раз вспомнить его, его последнюю ночь, эту скрипку и этот платок, и слова студентам о помощи, и незнание никем адреса его матери и отца, и нашего, пока жил?.. (Узнали, когда умер!) Кислородную подушку, стоившую столько-то (чудится мне, 20 рублей). Мог бы остаться жив? Ходила к ней, потому что она жалела его, больше, чем мать, и я как с его сестрой, близ него жившей, хотела — никогда не забыть эту ночь... Но я ее имя — забыла.

Фотограф снял Борю в цветах. И, по желанию Марины, второй снимок — с одной розой у груди, у сложенных рук, у пуговицы студенческой тужурки. Роза была темна. Он действительно походил на Пушкина, но черты строже. Уже чуть опускался вспухший от яда рот. Сидя у огня, Борис сказал мне: “Ася, вы не виноваты ни в чем. И он вас любил...” Цветочный магазин на Никитской — тот самый, где покупала ему гиацинт. (Гиацинт был еще жив, на окне.)

Марина и я выбрали Боре большой металлический венок незабудок, чтобы долго жил на могиле. Мы все почти не расставались. Почти не спали. В тот же день, на другой ли? до похорон ли? к нам пришла сестра Бориса — Маруся. Я ее с нами — не помню. Она пришла прямо к брату — “Мне надо поговорить”. Мы вышли. Она заперлась с Борисом и час ли, полтора? что-то ему говорила. Затем — ушла. После ее ухода Миронов и я, старая няня — не узнали Бориса: он сидел и глядел в одну точку. Затем взял зеркало и долго себя рассматривал, молча. Его лицо было пристально, что-то отсутствующее, выраженье безумного. Затем он встал и ушел, не сказав куда. И — пропал.

В наш дом пришла Ирина Евгеньевна, мать Бориса. На ней не было лица. Она обратилась ко мне с упреком: “Ася, я *говорила* вам: не пускайте Марию Сергеевну, она вас разведет с Борюшкой! Вы не послушали, не поверили! Он ушел. Не ко мне! Не приходил! Жив ли он? Я подниму на ноги всех, чтобы найти...”

Она была ласкова и добра ко мне. Верила. Удивлялась, что сын мог поверить сестре.

Я не помню подробностей похорон. Хоронили на Смоленском кладбище, далеко по правой горизонтальной дорожке. Были ли там могилы их близких? Я помню яму (песок? глину?). Весенний день. Плотную фигуру матери в шляпке, подростка-брата. Много чужих. Отца не помню. Он Борю любил, и Боря любил отца. Был ли на похоронах мой Борис? Не помню.

Если он пропал до похорон, то на похоронах не был, потому что нашли его неделю спустя.

Мы искали его у всех друзей, родных и знакомых. Нигде. С помощью ли полиции? но ведь он не был на том месте прописан! мать нашла его где-то далеко, на 6-м этаже, взял комнату. Денег не было. Питался одной булкой в день.

Мать разубедила его в лжи сестры: та сказала ему, что у меня с Бобылевым была физическая тайная связь, что из-за этой связи он умер. Маруся больше не появлялась к нам. Боря не возвращался, из-за стыда ли передо мной, что ушел, не спросив, что поверил, что лгу. Жил у матери — очень недолго: слег на операцию аппендицита в лечебницу Руднева (в Серебряном переулке). Я навещала его? Затем память путается. Знаю, что в двадцать лет Борису делали другую операцию — саркомы (на шее). Удачно. Не повторилась. Но, оставшись одна после лжи обо мне мной так любимой Маруси Трухачевой, я осталась с четырьмя дружественными близкими мне, в нашем домике: мой шестимесячный сынок Андрюша, старая няня, Миронов, не покидавший меня после исчезновения Бориса, ставший на мою защиту, и, наконец, утвердившаяся в доме пятая после меня кормилица, средних уже лет Соня, привязавшаяся к Андрюше и хорошо относившаяся ко мне. Среди них я жила мои дни. Но и их мало прошло теперь в квартирке на Собачьей площадке: я не смогла там жить. Так тяжко мне было в тех комнатах, где бывал Боря Бобылев, где я помнила его то на диване, то у стола, то — идущего, улыбающегося, нежного, радостного, слушавшего чтение моих дневников и моей повести, любовавшегося Андрюшей, входившего и уходившего с Борисом... Чтобы справиться с этой смертью и жить дальше, быть матерью сыну, сестрой Марине, надо было переехать с той квартиры. Я сказала Миронову: “Мне надо другую квартиру. И надо — скоро, чтобы папа, придя, нашел уже все устроенным, чтобы не огорчать его ответами на вопросы, слухами. Папу надо щадить. Скажу, что удобней, что тут были недостатки — ему не нравилось, кажется, что все проходное и что окно столовой в потолке. Вы поможете мне, Николай Николаевич? Что Боря умер — папа слыхал”.

Мы нашли квартиру — тут же, за углом от Собачьей площадки, в Борисоглебском, дом № 6\*. Квартира была большая, шесть комнат, три передних — фасад первого этажа — остались пустые. Я заняла три задних, с выходом во двор. Вещи перевезли. В два светлых окна длинная детская, в два окна темней (смежно) — моя. Полутемная побольше с решетками на окнах — столовая.

Тогда ли? или еще раньше? сын старой няни зачем-то (в семье ли понадобилась?) увез ее к себе. Ее место заняла пожилая круглолицая добродушная, толстая Маша, кухарка. Узколицая, полногрудая Соня с хитрым веселым взглядом носила красавца Андрюшу, показывавшего по ее учебе “где наши птиченьки?” (ручкой на стену, где она повесила игрушечную птичку). Он уже говорил много упорных, неясных полуслов, звонко кричал, сжимал кулачки, сердясь, и капризничал. Я на швейной машинке шила ему байковое пальтецо и шапочку для прогулок — зимой я боялась его выносить. (Я не сказала, что по старинке его свивали, и он был счастлив, выйдя из этих длинных повязок мученья — в платьица и кружевные простынки.) Манную кашу он ненавидел пылко и с ней боролся умело, научась дуть в дудку (на седьмом месяце, в восторге, в ликовании от звука), он дул в кашу, и она разлеталась в лицо нам с Соней и об стену. При этом он ликовал — особенно, и личико его было насмешливо. Его веселая детская залита была солнцем, кажется, розовая. В моей комнате, куда от него вела дверь, иногда было сумрачно, когда солнечных лучей в окнах не было. Там стоял диван, крытый ковром, письменный мамин стол, маленький старый шкафчик старинного образца. На стене — портрет нашей юной бабушки, все те же, что на Собачьей площадке, парижские бра, венецианские бусы. Книги. Казалось, что тут живут — давно. Папа приходил, но я его приходов не помню. Приезжали Марина, Сережа, одобрили переезд, устройство. Марина утешала, входила во все. Любовалась Андрюшей. Весной, в тепло, они встретятся с Алей. Аля уже больше его, говорит много слов. Кормилица Груша тоже уже прижилась.

Все дни после смерти Бобылева мы — Миронов и я, часто и Марина с нами — ездили на его могилу. Мы смастерили к кресту фонарь и зажигаем каждый раз в нем лампадку; издалека виден мерцающий огонек. На могиле был крест и венки — наш с Мариной голубой, незабудочный, лежал на холмике (или висел на кресте?). Мы мало говорили, Миронов и я. Но знали, что дружба — навек. Ему было, может быть, стыдно за Бориса, меня оставившего. Он покидал меня только на ночь. Он помог с отысканием квартиры, с перевозкой и расстановкой вещей. Мы были очень усталые — от малого сна тех ночей. И мы не могли и тут рано лечь, все ходили по полутемным комнатам взад и вперед, вспоминали Борю, Бориса.

Брат Андрей26, узнав, что у меня есть свободные комнаты, собирался занять их на время — он купил дом, хотел его перестраивать на свой манер (думал жениться, может быть? Жил с папой в Трехпрудном). Но, сказав, медлил. И Миронов не оставлял меня.

Была глубокая ночь. Мы ходили. Наши шаги отдавались гулко; казалось, кто-то где-то идет, но я ничего не боялась с Мироновым. Я чувствовала, что еще никогда никто не был так добр ко мне, так рыцарственен. Чувство горя о Боре, тоски по Борису, благодарность к Миронову — сливались в одно, наполняя сердце до верха.

(Нет. Я боялась себе сознаться, что я смутно догадывалась, что Миронова я — люблю. Нельзя было теперь думать об этом, понять и назвать это. Могила Бори, исчезновение Бориса затмевали и это.)

Но была глубокая ночь. Маша, Соня, Андрюша спали. Мы были одни. На повороте (бессчетном) по пустым полам передних ночных комнат (путь к ним был через столовую; начинаясь поперечно, — продольно, сбоку), Миронов сказал медленно, тихо, одновременно решенно и безудержно:

— Ася, я должен сказать вам. Я думал. Я не могу ничего с собой сделать. Я вас люблю.

Это было признанье? Или названье беды еще новой? Кажется, так. Но голос его был полон такой силы (слова сознавались — в слабости), что, охваченная ею, как парус захвачен ветром, я ответила — а мы все шли и глядели вперед:

— Николай Николаевич! Я чувствую большой восторг от ваших слов, хоть мне — страшно. Мне кажется, что я вас люблю, тоже...

Даже и от самой меня скрыт тот миг. Я не помню его слов мне. Но я знаю, что движенья друг к другу — не было: меж нас была смерть и долг (мой, к Борису). Но мы ходили, и счастье летело с нами, и ночь слушала нас.

Признанье было — прощаньем. Мы это поняли — оба. А на другой день, рассказав все Лидии Александровне27, Драконне, я, вернувшись, полная ее предостереженьем и требованьем — они и во мне звучали, — сказала Миронову, что он должен уехать. Написать отцу в Сибирь, чтобы тот ему выслал (он занимал пост на железной дороге) — билет. А пока чтобы перешел к Марине и не приходил ко мне. Он не спорил. Согласился. Мы теперь друг на друга не глядели. Любовь и восторг от нее делали все — легким, даже разлуку.

Не возьмусь передать речь Миронова. Марину, Бориса, папу, других — слышу. К его речи прикоснуться не смею — искажу. Без конца говорили мы, ходя по дому, вечерние и ночные часы, когда все утихало; быт, как игральные кости в шкатулку, укладывался, потухал о ночь, все спали. Тогда — днем в недомолвках, во взглядах, в удержанном, в лихорадке, вздохе, просыпался наш разговор. У нас нет настоящего. Мы прощаемся (как тогда с Нилендером28, когда уезжала с Борисом). И теперь я должна ехать с ним на хутор к отцу. И уеду. Чтоб не появился в минуту его оскорбленности, одиночества — второй холм на кладбище. Но у нас — за это — где-то во мгле, впереди — цветет будущее!

Через годы? когда? будем вместе!.. И есть прошлое. Тот день моих четырнадцати лет на “Эрос и Психея” с Мариной, тот, за роялем, взгляд, неотвратимый... И медовой струей, в деготь клеветы, в горечь дней, — рассказ Миронова мне о его первой встрече со мной: я вошла с мороза, кудри и снег. Глаза, лицо, голос. Он шел навстречу. Знакомят. Рукопожатие. Борина жена! Нет! “Маленький лорд Фаунтлерой”!29 Любовь с первого взгляда — “Я вас полюбил навсегда, Ася...”

Он переехал к Марине, от нее узнавал обо мне. Ждал билета. Брат Андрей собирался ко мне. Борис выздоравливал (от первой операции). Я ждала к себе в гости папу, обещавшего в этот вечер прийти. Он не шел. На пороге стояла Маша, докладывая, что меня спрашивает пожилой господин.

Маша еще не видела папу. Я поспешила мимо нее — навстречу. В передней стоял грузный старик, мне незнакомый. Он тяжело смотрел на меня, глаза были выпуклые. Мне показалось (в эту ли минуту? позднее?), что он нетрезв. Маша ушла. Мы были одни. Он ступил ко мне, переспросил мое имя. Я подтвердила. Я не догадывалась. Он шел, и я стала спиной к стене, лицом к нему. Это было в пустой комнате, первой, куда должен был, опоздав, войти папа. Полная этим ужасом, я вошедшего — не боялась. Должно быть, это было в лице. Он подошел и долго молча, близко мне глядя в глаза, стоял передо мной. Его старые руки, дрожа, поднялись, и он стал, не отводя взгляда, трогать ими, немного сжимать перекрестно концы накинутого на мою шею боа — плоского, широкого, желтого, из куницы. Я думала только о папе — с ужасом о том, *что* же будет, если он сейчас войдет! Может быть, это, наоборот, было — недолго? Вошедший вдруг стал снижаться. Падать? Он опускался на колени и — снизу, сжав мои руки:

— Я — отец Бори Бобылева! — сказал он, — я пришел к вам... Я не знал. Нет, я знал! Ася! Боря так о вас говорил... Он говорил: “Ася — святая!” — Он зарыдал. — Я люблю моего сына...

Я подымала его. Мы плакали вместе. Я забыла, что должен прийти папа. Он уверял меня, что Боря прав, я — дитя и он верит, что я...

От него пахло вином. Но я не боялась, я была полна горем. Он говорил, что счастлив, что увидел меня, о которой так говорил его сын. Что мы — “вместе с вами — я и вы — поставим ему памятник на могилу”.

Затем — сколько мы говорили? — он ушел. Я ходила теперь в дрожи по комнате. Папа в этот день не пришел. Я еле дожила до утра. Утром я попросила Александру Олимпиевну30 передать к Марине — Миронову, что я прошу его ко мне прийти. Я больше никогда не видела отца Бори. Я ему раз звонила по телефону — о памятнике. Что-то не состоялось во встрече. Затем — я уехала из Москвы на лето. Потом были другие события и отъезд из Москвы — надолго. От Бориса? или еще от кого я услышала, что отец Бобылева шел ко мне с тем, чтобы меня убить.

Наступила весна. У меня еще был цел пузырек с цианистым калием — я, подержав его в руке, уничтожила.

Сколько у меня пробыл Миронов? Не помню. Он успокоил меня. В его любви, совершенно бескрайной, навек, все стало снова легко. (Без него я уж перестала верить, что он — есть.) Из больницы пришел ко мне Борис. Я сказала ему о Миронове. К нему, как и в иные дни наши с Бобылевым, — вернулась любовь ко мне. Он смотрел на меня глазами 1911 года, уверял, что я не могу его любить (как и тогда). Но это были — часы. Затем он менялся, делался совершенно другой (в нем, может быть, вспыхивало недоброе к Коле Миронову?), но и это проходило, и еще что-то шло на смену. Я уставала ужасно. Жалость к нему (пережившему еще и физический нож, похудевшему) была вне мер. Я радостно сообщила ему, что Миронов скоро уедет. Говорила, что вновь будем вместе. (Говоря это, я внутренне умирала.) Он не верил. Я начинала плакать. Он смотрел на меня, как Леонардо на чертеж летательной машины или — на, может быть, рассеченный для изучения живой организм. Он ушел однажды наконец, со мной простясь, ласково, но я не пускала, не зная, куда идет, и до двери черного хода шла за ним (не сделает ли что над собой), залитая слезами, еле держась на ногах.

Он ушел. Онемев, устав до предела, я рухнула на диван и заснула. Я проснулась от тихого стука в окно: это был он. Вернулся? Я бросилась открыть. Он остановил меня не входя, на пороге: “Нет, я сейчас уйду. Я только хотел посмотреть, все ли еще вы плачете или уже успокоились? Вы спали. Прощайте. Я ухожу”. Я схватила его руки. Он вырвал их. Не слушал. Шаг стихал. Я рухнула в поток слез.

В Столешниковом переулке мою руку взяла цыганка. Насильно. Всплеснулся голос. Она мне сказала, что я пережила смерть, недавно. Умер молодой, светлоглазый. Меня любил... Я шла, вырвав руку. Была сияющая весна.

Брат Андрей переехал ко мне и заболел. Дал мне адрес: Вера Ивановна Т-цкая. “Съезди, скажи, что я болен. Не зови. Как хочет”. Я поехала. Высокая белокурая, в слезах вышла ко мне:

— Мы любим друг друга, но у меня муж, ребенок. Приду, но —

— Не могу советовать, — сказала я ей, — но я только что пережила самоубийство друга. Берегите его. Обоих! Все очень страшно.

Вечером она приехала к Андрею.

Я не знаю о них ничего.

Из дневника31.

Это было три года назад. В Москве стояла весна. В тихом Борисоглебском переулке в часовне горела лампадка перед ликом старого святого. Я часто молилась ему, встав на колени у окна, в одной из передних комнат, среди груды книг, лежащих на полу. Мне было восемнадцать лет. Андрюше было семь месяцев. Б. был где-то вдали — не то в больнице, не то у матери — наша жизнь с ним была порвана; во что сложится жизнь, что со мной будет, — я не знаю в своей жизни другой такой смутной поры.

Я была всеми брошена. Миронов, вставший тогда на мою защиту и полюбивший меня, — по просьбе моей только что уехал в Иркутск, и был еще туман от дней, от безумного напряжения разговоров, бывших с ним. И мои восемнадцатилетние плечи вынесли все без малейшей помощи — гибкостью, покорностью, чудом!

— Смотрите, каким цветком распустился шатавшийся стебелек, склонявшийся ниц, к евангелию, к добру, перед лампадкой.

По вашим приговорам, по всеобщему осуждению, я, как по лесенке, взошла наверх, — где прекрасно! — и солнце ласкает атлас моих лепестков, и небо широко надо мной!

Борис и я ходим по тем комнатам, где я ходила с Мироновым. Поздно, темно. Наши шаги раздаются по пустым полам, и кажется, что кто-то ходит в дальней комнате. Мне жутко. Борис бледен. Его тонко очертанный профиль пронизан прислушиванием. Ноздри дышат — в волнении. Я взглядываю на него. Он думает о том же. Холод трогает наши сердца, шевелит волосы. Лицо Бориса становится почти вызывающим. (С таким лицом он пошел потом на войну. Но тут война объявлялась нам — незримо? Только одним слухом слышимая.) Кому из нас стало стыдно, что забыли, какой добрый был Боря, ушедший... Чьей доброй силой мы себя взяли в руки, пришли в себя?

Было 21 марта 1913 года. День отъезда Миронова.

Чудный весенний день. Не помню, как мы встретились, долго ли были вместе. С того пятьдесят один год. Я помню: мы едем на вокзал в автомобиле. Я провожаю. Лицо любимей, нужней всех — рядом. То профиль — большой прямой нос, худая щека, выступ губ; твердый юношеский еще подбородок. Темно-золотой родной глаз. То — поворачивается ко мне лицо нежной юношеской худобы, вверху шире, резко сужаясь книзу. Маленький, твердо и добро сложенный рот. Крылья бровей брошены по надбровью. И ни с кем не сравнимый, упоенный восторгом взгляд. Я не вижу глаз, я утонула во взгляде — их душе. Огромное сердце рядом полно мной. Мы в бездне. Из нее говорит голос:

— Ася, нам нельзя вместе жить, но мы вместе умрем... И где бы мы ни были — мы позовем друг друга...

*КОММЕНТАРИИ*

1 Ср. стихотворение М. И. Цветаевой “Рок приходит не с грохотом и громом...” (в кн.: Цветаева М. И. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 1. М. “Элис Лак”, стр. 327). В собр. соч. не комментировано; имеет дату 16 ноября 1916 года. Отличается в записи А. И. Цветаевой первым словом.

2 Борис — Трухачев Борис Сергеевич (1892 — 1919), первый муж А. И. Цветаевой. О нем см. в кн.: Цветаева А. И. Воспоминания. М. “Советский писатель”. 1984, стр. 368 и далее\*, а также в романе “Amor”, стр. 155 и далее, под именем “Глеб”.

3 Боря (Борис) Бобылев (1892 — 1913) — см. о нем в кн.: “Воспоминания”, стр. 480 — 488.

4 Миронов Николай Николаевич — о нем см. в предисловии к настоящей публикации, а также в романе А. И. Цветаевой “Amor” (М. 1991, стр. 115 и далее), где он выведен под своим именем.

5 “Эрос и Психея” — пьеса польского драматурга Юрия Жулавского (1874 — 1915), шедшая на сцене театра Корша.

6 ...с нами едут и Эфроны, и Пра. — Эфроны — муж М. И. Цветаевой — С. Я. Эфрон (1813 — 1941), его сестры — Эфрон Е. Я. (1885 — 1976) и Эфрон В. Я. (1888 — 1945). Пра — Е. О. Кириенко-Волошина (1850 — 1923), мать поэта М. А. Волошина.

7 Аля — Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 — 1975), дочь М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона.

8 Андрюша — А. Б. Трухачев (1912 — 1993), сын А. И. Цветаевой.

9 Папа — И. В. Цветаев.

10 Сергей Львович — С. Л. Толстой (1863 — 1947), сын Л. Н. Толстого. Старая няня ранее, до службы у А. И. Цветаевой, служила у него.

11 Эпизод крещенского гадания дан в кн.: “Воспоминания”, стр. 486 — одним абзацем, который заключает сдержанное замечание, что на Б. Трухачева и Б. Бобылева встреча эта “произвела какое-то тягостное впечатление”.

12 Елена Молоховец — автор широко принятой в русском обиходе кулинарной книги “Подарок молодым хозяйкам”.

13 Эпизод, в котором рассказывается о комическом происшествии, связанном с “задней частью дикого вепря”, см. в главе “Дикий вепрь” в “Воспоминаниях о Марине Цветаевой” М. И. Кузнецовой-Гриневой (“Россияне”, 1992, № 11 — 12, стр. 16).

14 Упоминание об издательстве “Оле-Лукойе” внесено в “Воспоминания” А. И. Цветаевой несколько в ином контексте (см. стр. 485).

15 Каток Патриарших прудов — там А. И. Цветаева познакомилась со своим будущим мужем Б. С. Трухачевым. Об этом см.: “Воспоминания”, стр. 367 — “Встреча на льду”.

16 Темой “Идиота” и “Братьев Карамазовых”, настроением и тоном Ф. М. Достоевского проникнута юность А. И. и М. И. Цветаевых, об этом часто — в “Воспоминаниях”.

17 Голос Психеи... — здесь: голос души.

18 Две строки из стихотворения А. А. Блока “В углу дивана...” (из цикла “Маски”, 1907).

19 Имеется в виду многолетний конфликт Маруси, М. С. Трухачевой (? — 1919), с ее родителями. Об этом см.: “Воспоминания”, стр. 493.

20 Мила и Нолли — герои одноименной сказки Н. П. Вагнера (см.: Вагнер Н. П. Сказки Кота Мурлыки. М. “Паллада”. 1992, стр. 41 — 53).

21 Эпизод об уничтоженной повести вошел в “Воспоминания” (стр. 486 — 487). Повесть без названия имела дневниковый, автобиографический характер. Подобная судьба постигла несколько произведений А. И. Цветаевой, среди них — повесть “Скарлатина”, книга о В. В. Розанове. Уничтожения эти имели для автора жертвенный характер и являлись кульминациями самых трагических периодов ее жизни в молодости.

22 Строка из стихотворения Ф. И. Тютчева “Брат, столько лет сопутствовавший мне...”.

23 Галя (Галина) Дьяконова (1894 — 1976) — гимназическая подруга А. И. Цветаевой, будущая жена П. Элюара, затем С. Дали, о ней см.: “Воспоминания”, стр. 243 и далее.

24 Кланя Макаренко — одна из подруг детства А. И. Цветаевой по жизни в Тарусе. См. упоминание о ней: Цветаева А. Таруса. — Газ. “Культура”, 1993, 11 сентября, стр. 12.

25 Эпизод отравления, самоубийства Б. Бобылева дан в “Воспоминаниях” (стр. 487) только в форме фактического упоминания.

26 Брат Андрей — А. И. Цветаев (1890 — 1933), сводный брат А. И. и М. И. Цветаевых по первому браку отца.

27 Лидия Александровна Тамбурер — приятельница матери сестер Цветаевых, их добрая, доверенная подруга, родная душа, советчица. О ней см. у А. И. Цветаевой в “Воспоминаниях” (стр. 256) и в очерке М. И. Цветаевой “Лавровый венок” (см. также примеч. 9 к письму М. И. Цветаевой 3 в первом разделе настоящей публикации).

28 Нилендер В. И. (1883 — 1965) — переводчик Гераклита, знаток древних языков и литератур, друг юности сестер Цветаевых; ему посвящены стихи М. Цветаевой в первом сборнике “Волшебный фонарь”; о нем подробнее см.: “Воспоминания”, стр. 304 и далее.

29 “Маленький лорд Фаунтлерой” — образ из одноименной повести американской писательницы Френсис Бернет, памятной сестрам Цветаевым с детства. Образ этот стал своего рода “паролем” любви А. И. Цветаевой и Н. Миронова (ср. стихотворение А. И. Цветаевой “Н. Миронову”, приведенное в предисловии).

30 Александра Олимпиевна — экономка в отцовском доме сестер Цветаевых. О ней см.: “Воспоминания”, стр. 496 и др.

31 “Из дневника” — фрагмент из второй книги А. И. Цветаевой — “Дым, дым и дым. 1916” (М. 1916, стр. 175). Приводится автором без изменений, дословно.

**НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЭРОСА**

*Вместо послесловия*

Свет из тьмы. Над черной глыбой  
Вознестися не могли бы

Лики роз твоих,

Если б в сумрачное лоно  
Не впивался погруженный

Темный корень их.

*Вл. Соловьев.*

Небольшой литературно-психологический мемуар, публикуемый “Новым миром”, хотя и заинтересует любителей “всего цветаевского”, но, на первый взгляд, далек от общекультурных проблем, представляя собой сугубо интимный документ: его герои никакие метафизические проблемы не обсуждают, о прочитанном не разговаривают; разве что однажды заходят в какой-то театр... Сюжет же по нынешним временам и вовсе незамысловатый: трое молодых людей любили молодую замужнюю женщину, один из них покончил с собой — житейская, словом, история.

И все-таки почему же ушел из жизни Боря Бобылев? Из-за верности героини узам брака и, вследствие этого, невозможности полной близости? Однако за замерзшими окнами комнаты с камином давно уже в разгаре двадцатый век, и времена Анны Карениной (не то что Татьяны Лариной) — в далеком и забытом прошлом. И хотя героиня пишет что-то о том, что не могла или не хотела обманывать мужа, тут же сама и проговаривается: муж и брак тут совершенно ни при чем — влюбленные, они с Бобылевым, как ей казалось, не тянулись к физической близости; более того, такая близость вызывала у автора некое отвращение. Зачем же приносил этот студент цианистый калий, зачем предлагал вместе уйти из жизни? Так вся эта история начинает напоминать другую, еще более давнюю, вспомнив которую И. А. Бунин написал: “Дело странное, загадочное, неразрешимое. С одной стороны, оно очень просто, а с другой — очень сложно...”

19 июня 1890 года, в Варшаве — тогдашней “национальной окраине” империи, двадцатидвухлетний корнет лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Александр Бартенев застрелил из револьвера свою возлюбленную, актрису Марию Висновскую. Дело получило широкую огласку; писали о нем не только местные, но и переполненные собственными новостями столичные газеты1, и даже толстые литературные журналы, криминальную хронику высокомерно игнорировавшие, в этот раз увлеченно излагали на своих страницах, казалось бы, заурядную уголовщину2. Защиту корнета-убийцы взял на себя уже успевший прославиться Ф. Н. Плевако3. С окончанием судебного процесса дело Бартенева сразу же становится достоянием массовой беллетристики: в 1892 году однополчанин Бартенева, проходивший к тому же свидетелем по делу, гвардейский ротмистр и литератор Ю. Л. Елец выпускает романизированную версию недавней драмы под симптоматичным названием “Болезнь века”, а спустя три года та же история подробно излагается Л. Ф. Снегиревым в двадцать третьем номере выпускаемой им библиотеки уголовных процессов.

Впрочем, дело это — подобно массе других дел, некогда будораживших печать и общество, — наверняка ушло бы в забвение, если бы в 1925 году о нем не вспомнил живущий в Приморских Альпах И. А. Бунин и не написал на основе его сюжета рассказ “Дело корнета Елагина”, который в творчестве писателя занимает несколько необычное место. В нем очень мало того, что называется художественным вымыслом: события излагаются исключительно точно — вплоть до текста предсмертных записок жертвы; весьма близко к тексту передана и речь защитника. В итоге участие автора-рассказчика сводится к комментирующим репликам.

Что же такого странного и неразрешимого увидел, вслед за проницательным защитником, в этом деле И. А. Бунин? И если бы молодой корнет в последний момент не смалодушничал, а в соответствии с кодексом гвардейской чести пустил после убийства возлюбленной пулю в лоб, имели бы мы на сегодняшний день названный рассказ Бунина? Чем, собственно, “дело Бартенева” отличалось бы тогда от многих аналогичных — ведь кровавые развязки любовных драм были в русской жизни конца минувшего века столь же обыденным и чуть ли не ежедневным явлением, как кровавые развязки криминальных разборок — на исходе века нынешнего: убийства и самоубийства “от любви” составляли повседневность культурного быта наступившего fin de siиcle. Рубрики “Происшествия” сообщали: то в Люблине, в номере гостиницы “Виктория”, драгунский юнкер убивает выстрелом из револьвера свою замужнюю знакомую, к которой, как сообщили газеты, “довольно долгое время питал страсть”, а затем стреляется сам4; то в Москве, в меблированных комнатах на Рождественском бульваре, штабс-капитан полиции В. В. Золотухин стреляет в девятнадцатилетнюю телеграфистку Ольгу Гончаренко, после чего также кончает жизнь самоубийством5. Эти сюжеты никому не показались загадочными или таинственными и годились разве что для “бульварного романа”; а между прочим, стоило бы задуматься: понятно, когда счеты с жизнью (своей и чужой) сводят из-за неразделенной любви, — но какая же “неразделенная любовь” может быть в гостиничном номере или меблированной комнате? Впрочем, в тот “нервный век” убийство могло произойти на почве ревности, последующее самоубийство — из-за ужаса от содеянного... Однако в деле Бартенева не было ни ревности, ни неразделенной любви, а из свидетельских показаний обвиняемого следовало, что он и его возлюбленная решили вместе добровольно уйти из жизни, и его выстрел был лишь исполнением этого решения; поэтому его вина состоит лишь в том, что он не решился исполнить задуманное до конца.

Вообще проблема добровольного ухода человека из жизни начала беспокоить “общественность” где-то с середины XIX века; озабоченность “манией самоубийств” прозвучала и в речи В. С. Соловьева на его магистерском диспуте 24 ноября 1874 года6, касался ее и Достоевский в “Дневнике писателя”. Причины охватившей общество мании чаще всего объяснялись той социальной ломкой, которая происходила в России в 1860 — 1870-е годы (“перестройка виновата”). Однако и после успокоения реформаторской деятельности правительства число добровольных уходов из жизни продолжало возрастать. “В короткое время в г. Судаке, в Крыму, было 11 самоубийств, — сообщалось в 1885 году в московской газете, — замечательно то, что все самоубийцы были женщины и все избрали один и тот же способ для самоубийства: все они отравились раствором из фосфорных спичек”7. А спустя четыре года корреспондент “Нового времени” с недоумением указывал на те незначительные, порой просто курьезные причины, которые способны толкнуть современного человека свести счеты с жизнью: в Харькове некто покончил с собой из-за испорченной портным французской материи, в другом месте фельдфебель повесился потому, что кум не позвал его на крестины8.

Надо сказать, что русская литература — при всем своем реализме и психологизме — как-то затруднялась в собственно художественном освоении этой общественно-болезненной темы (мы не рассматриваем “низовой” литературы, где самоубийство служило удобным сюжетообразующим элементом) — во всяком случае, русские писатели-“классики” вплоть до конца века не создали сколько-нибудь запоминающихся образов самоубийц. (Идейные и несколько “экспериментальные” самоубийства героев Достоевского не в счет.) С чего, собственно, было стреляться или вешаться героям русской классики? — имений они не пропивали, наследства и приданого в карты не проигрывали... Разве что опять-таки — от неразделенной любви? Но, как ни странно, при всей насыщенности русской литературы XIX века любовью такие сюжеты как-то не вспоминаются: русский интеллигент после неудачного rendez-vous обыкновенно отправлялся “потрудиться на народной ниве” — а в исключительных случаях предпочитал погибнуть на какой-нибудь баррикаде; к отчаянным порывам страсти оказывалась способна разве что “дева гор”, экзотическая черкешенка. Можно ли себе представить стреляющегося Лаврецкого? вешающегося Обломова? принимающего яд после любовной неудачи Константина Левина? (Современная критика, правда, высказывает предположение, что Базаров нарочно порезался, а Писарев — не случайно утонул в Рижском заливе; на наш взгляд, мы имеем дело с типичным примером идейного анахронизма: критикам минувшего столетия такие идеи в голову не приходили.) Иное дело — литература и искусство XX века: тут уж редкий писатель не отправит одного-двух своих героев на тот свет — тем или иным способом.

Конечно, половая любовь — чувство, наименее подверженное каким-либо временным изменениям; в то же время понятно, что культурное представление о том, что же такое, наконец, эта самая любовь, существенно различается в разные исторические эпохи, и в девятнадцатом веке любили не совсем так, как в начале века двадцатого. Даже если в основе любовного влечения лежит самый что ни есть древний природный инстинкт (что вопрос), то ведь нет, наверное, другой такой сферы человеческого бытия, которая со стороны культуры была бы столь плотно обложена разнообразнейшими ограничениями и запретами; именно в этой сфере культура была (и отчасти остается) наиболее тоталитарна и репрессивна.

Говорить о неких общих культурных архетипах применительно к XIX веку чрезвычайно трудно и чаще всего вряд ли продуктивно: общество вступило, по авторитетному заключению, в стадию “смесительного упрощения”, и различные социальные группы уже образовали собственные субкультуры, зачастую не имеющие “пересекающихся” ценностей. При всем том оставалась некая ценность, в равной мере признаваемая всем культурным сообществом. Такой ценностью и была любовь — любовь мужчины и женщины, понимаемая, по слову поэта, как “прямое благо: сочетанье двух душ”. Приведем здесь только две цитаты:

“Бог, проявившись в природе, сотворил животное и вдунул в него божественную искру — часть этой высокой идеи, так хорошо выраженной гармонией мира <...> Что же такое человечество? Бог — вложенный в материю. Жизнь его — стремление к свободе, к соединению со всем; выражение его жизни — любовь, этот основной элемент Предвечного. Это дружественные частицы, разделенные одна от другой, силою материи отделенные от их высокого Источника! Вот откуда происходит симпатия одного человека к другому <...> Они дают друг другу руку, чтобы сбросить иго материи, они сильны единением <...> Единение мужа с женой дает совершенную гармонию. Это единое существо, заключающееся в двух существованиях”.

“Побуждение к браку и цель его — исполнение коренного правила природы, в силу коего живая и цельная личность человека стремится дополнить себя, ищет себе дополнения <...> в такой же личности другого пола <...> Неверно приискивать и ставить для брака цель специальную, как, например, деторождение, ибо брак есть цельный органический союз, и идея его коренится в основном законе природы: приведение к единству и цельности раздвоенной на два пола природы человека”.

Первый фрагмент заимствован из частного письма молодого М. А. Бакунина; второй — из лекций для студентов-правоведов, читанных К. П. Победоносцевым9. Источник такого взгляда на брачную любовь вполне очевиден: Платоново учение об изначально цельном человеке, разрубленном пополам и вновь ищущем утраченного единства (впрочем, будущий обер-прокурор Синода наверняка сослался бы на слова Апостола), многократно преломленное европейским и отечественным романтизмом, восточным богословием, университетской философией, прочно усвоилось культурным сознанием русского интеллигента. При этом телесность платоновского мифа заменялась романтическим (наверное, все же романтическим, а не христианским) спиритуализмом: в любви видели, конечно же, не плотско-оргиастическое сплетение телесных половинок, но то самое “сочетанье двух душ”, итогом которого является восстановление утраченного в грехопадении первозданного человеческого единства.

Будучи изгнан спиритуалистами из садов культуры, эрос обретал неограниченную свободу в чаще дикой, неокультуренной природы; “души” сочетались сами по себе, “телесные половинки” — сами по себе. Достаточно ознакомиться с интимными документами (письмами, дневниками) русского интеллигента XIX века (начиная с “идеалистов” 1830 — 1840-х годов: переписка дружеского кружка М. Бакунина, Н. Станкевича, В. Белинского, вся так называемая “премухинская история” — образец предельно искреннего напряжения идеального любовного чувства), чтобы увидеть, что именно в любви мыслился не только смысл индивидуального существования, но и всей мировой жизни. И при этом в своей частной жизни авторы этих писем и дневников вовсе не придерживались идеалов аскетики или даже не могли служить примером простого житейского целомудрия: религиозное служение Афродите Небесной мирно уживалось в их жизни с необходимыми жертвоприношениями Афродите всенародной. В то время как “дружественные частицы” в возвышенной переписке “подают друг другу руки”, сброшенное “иго материи” живет собственной, независимой жизнью: тут и “погибшие, но милые созданья”, белошвейки, работницы, крепостные (дворовые) девки, Трубная площадь и, естественно, то, что до последнего времени тщательно вымарывалось из всех публикаций10.

В общем, именно так — или почти так — и понимался “смысл любви” на протяжении всего XIX века; дабы не утонуть в примерах, напомним известный, но вполне проходной эпизод из “Анны Карениной” — романа, которого все равно не миновать в рассуждениях о любви и самоубийстве в России.

Вспомним, что причиной знаменитого “всесмешения” в доме Облонских была обнаруженная женой связь Стивы с француженкою-гувернанткой. Можно предположить, что именно здесь и заключена завязка будущего романа: налицо прелюбодеяние и нарушение брачного обета... И, главное — ведь m-lle Roland — “и хуже всего то, что она уже...”. Соответственно далее либо могла последовать история нравственного воскресения Облонского, либо, если такового не случится, герой вполне мог угодить под паровоз — авторский эпиграф может ведь навести и на такие предположения. Но в итоге все завершилось по слову Стивиного слуги Матвея, то есть “образовалось”; эпиграф, оказывается, относится вовсе не к судьбе сластолюбивого ловеласа. Непонятно, почему аналогичный эпизод в жизни Нехлюдова разворачивается в многостраничный нравственный роман, а о судьбе француженки, жизнь которой едва ли “образовалась” столь же благополучно из-за отсутствия Матвея и наличия известных последствий, Толстой так ни разу и не вспомнил. С другой стороны, грех Анны Карениной кажется неизмеримо более простительным, нежели грех Стивы и тем более — Нехлюдова. Однако факт остается фактом: Стива, развлекавшийся с гувернанткой и бросивший ее “в положении”, ест себе спокойно устриц, и никто ему не “воздает”; Анна, полюбив Вронского всем своим существом, — умирает ужасной смертью.

Жестоко-кровожадное отношение Толстого к своей героине долго возмущало публику. “Сама ошибка Толстого, бросившего несчастную Анну под поезд, — писал по этому поводу признанный специалист в таких делах В. В. Розанов, — при всем авторском сознании даров ее души, ее прямодушия, честности, ума — лучше всего иллюстрирует странный и темный фанатизм общества против несчастных семей. Даже гений впадал в безумный бред, видя здесь не бедствие, в которое надо вдуматься и ему помочь, а — *зло,* которое он ненавидел и в тайне души именовал „беспутством”. Анна, видите ли, „чувственна””11. Если исключить ссылку на “темный фанатизм общества”, вызванную личной семейной проблемой писателя (вообще там, где дело касалось разводов, Розанов легко превращался из глубокого мыслителя в тривиального социального обличителя), то причина, по которой “гений” бросил героиню под поезд, указана очень точно: потому Толстой прощает Стиве, что в его “интрижке” была чистая физиология, а чувственной страсти не было никакой; за физиологию же Толстой ни своих героев, ни себя в период “Анны Карениной” еще не наказывает12.

Существует мнение, что русская классическая культура была отравлена, а затем и окончательно убита тем “ядом эротизма”, который был введен в ее здоровое тело некими не из хорошего места появившимися декадентами в “конце века”. В действительности русское культурное общество было поставлено лицом к лицу с “бездной пола” самым что ни на есть “классическим” писателем — Львом Толстым: молодые “декаденты”, будучи более восприимчивыми к новым культурным “веяниям” и “течениям”, в отличие от современников Толстого не отвернулись в ужасе от вскрытой писателем проблемы, а восприняли ее со всей серьезностью13 и мучительно пытались ее разрешить — и в жизни, и в творчестве (что для “декадентов”, как известно, было одно и то же). “Крейцерова соната” оказалась для общественного сознания своеобразным коллективным “психоаналитическим сеансом”, снимающим “златотканый покров” и обнажающим “бездну с страхами и мглами”14. Между тем в “Крейцеровой сонате”, буквально шокировавшей современников и запрещенной цензурой (едва ли не первое литературное произведение, запрещенное не по политическим мотивам), Толстой лишь договаривает то, что он уже отчетливо почувствовал в “Анне Карениной”, но стыдливо спрятал за внешней беззаконностью любви Анны и Вронского: “союз души с душой родной” — не более чем “метаморфозы и символы” либидо. Что же тогда остается от всей русской культуры XIX века — от “Аси”, “Первой любви”, Лизы Калитиной, Наташи Ростовой? Было от чего прийти в отчаяние одному из самых строгих охранителей “русской классики”, давнему почитателю Толстого — Ю. Н. Говорухе-Отроку, который с горечью писал о том, что Толстой уступил Мефистофелю последнее, что у него осталось, — “сочетание двух душ”, признав, что всем своим предшествовавшим творчеством “только “бредил наяву” <...>, когда описывал историю Кити и Левина, когда описывал, как Левин узнает, что Кити его любит, когда описывал ночь в гостинице” и т. д.15. Критик выделил в романе лишь привычные сцены идеальной любви, исполненные в поэтике любимого им Тургенева, “союза душ”, освящаемого церковью; его не смутил уже увиденный Толстым “угрюмый, тусклый огнь желанья”16, которым вдруг засветились в темноте глаза Анны, — он был уверен: так блестят глаза только у прелюбодеев.

Дикий зверь, выпущенный из лесу, разрушает хозяйственно организованное человеком пространство поля, сада, парка; эрос, поднявшийся из “бездны” в человеческую душу, разрушает и культурное пространство, и самую человеческую личность. Зрелище рушащейся под напором эроса культуры не может не ужасать привыкшего к стройным классическим формам человека, и первая реакция на это зрелище совершенно естественна: этого зверя надо убить. Самоубийство Анны, так же как и убийство Позднышевым своей жены, — это прежде всего убийство дикого зверя в себе. Можно, конечно, попытаться приручить, окультурить дикое животное, сделать его домашним и поселить в специально отведенном для этого пространстве культуры — но это требует работы долгой, кропотливой, за которую рискнет взяться скромный буржуазный доктор где-нибудь в Вене, но не русский писатель в Тульской губернии...17

Понятно теперь, почему один из журнальных обозревателей отметил сходство “дела Бартенева” с “Крейцеровой сонатой”18, и так же понятно, почему этот сюжет вдруг вспомнился И. А. Бунину после создания “Солнечного удара” и “Митиной любви”: внешне немотивированная попытка “двойного самоубийства” — попытка выскочить из плена эроса двух влюбленных, стремящихся к “сочетанью двух душ”.

“Дело Бартенева” и “Крейцерова соната” интересуют нас сейчас как определенный симптом идейно-психологического перелома в обществе: симптом начавшегося распада существующих традиционных форм последних и, как казалось, наиболее устойчивых социально-культурных институций — брака и семьи19. Сегодня очень соблазнительно судить культуру и быт “эпохи рубежа веков” по их внешним, наиболее ярким и запоминающимся проявлениям: картинки Феофилактова, живопись Сомова, “элевзинские мистерии” на башне Вячеслава, причудливые любовные тре- и многоугольники, “Крылья”, “Тридцать три урода” и прочие сиреневые туманы декаданса. Культура той эпохи искала “новые формы” не по прихоти безнравственных эстетствующих декадентов — она просто вынуждена была это делать после того, как породила Достоевского, Толстого, В. С. Соловьева; общество уже не могло делать вид, что не услышало четко и громко сказанного Толстым, что если любовь основана на духовном сродстве и единстве идеалов, то незачем ложиться спать вместе, — мысль, которой на прежнем уровне общественного сознания не принято было задаваться. Духовная атмосфера эпохи была пронизана предельным эротическим напряжением20, — однако трудно сказать, чего в ней было больше: буйного оргиазма или замешанной на крутом мистицизме аскетики. На каждый “соборный брак” наверняка можно отыскать и брак целомудренный, причем все в той же самой что ни на есть “декадентской” среде. Очутившись перед лицом всплывшего из “темной бездны” эроса, общество в целом все же не решилось принести жертву ради победы над диким зверем; однако, в то время как культура постепенно “приручала зверя”, заполняя пространство между Аполлоном и Дионисом, частному человеку в его частной жизни приходилось порой выполнять эту работу самостоятельно. Предшествующая культурная традиция не давала для этого сколько-нибудь твердой и надежной опоры: попытка В. С. Соловьева разъяснить “смысл любви” оказалась малоудачной и художественно гораздо менее убедительной, нежели толстовский аскетизм и “бездны” Достоевского. Не следует забывать, что если для культурологов наших дней пресловутая оппозиция Аполлона и Диониса представляет интерес чисто теоретический, то философы начала века писали об этом чаще всего на основании собственного интимного опыта — порой очень мучительного. О глубине и силе внутренних переживаний, о трагической раздвоенности, которую испытывал вполне зрелый и образованный человек предреволюционной эпохи, можно судить по следующему фрагменту письма из сохранившейся интимной переписки:

“Душа моя, все эти светлые хорошие дни ты предо мною, и все эти дни я мучусь именно этой болью. Отчего в этой самой большой радости мы не можем быть вместе? Отчего именно в *светлом* воскресеньи мы разлучены?

Друг мой, бесценный и дорогой, пойми, что для меня это невыносимо тяжело. Но что же делать. Почувствуй наконец, что я тебя *обожаю* и что у меня не одна, а целых *две* любви к тебе.

Есть страсть, мучительная до боли. Но и эта — не настоящая, т. е. не высшая моя любовь. Есть другая, бесконечно выше и глубже. И обе эти любви к тебе во мне борются. Вторая — высшая — из *самой глубины* сердца: всем сердцем ты мне дорога, всей душой близка. Каждое чувство, каждую мысль мне нужно делить с *тобой,* чувствовать себя с тобой наедине, забыть целый мир и видеть одну тебя.

И вот, я чувствую, первая низшая любовь-страсть мешает полному осуществлению первой — высшей любви. Она совершает грех, который волей-неволей остается *за порогом храма.* Она соединяет нас призрачно здесь, но разлучает *в Христе и в воскресеньи.*

Душа моя, обожаемая моя. Как я хотел бы, как я пламенно желаю, чтобы окончательно и *полно* восторжествовала вторая, *высшая любовь,* чтобы грех нас больше не разлучал никогда, ни в чем и чтобы он был окончательно побежден, чтобы *ничем* не омрачалась моя бесконечная радость быть с тобой, переживать это тесное соединение наших душ.

Родная моя! Неужели это так невозможно. Тяжел, бесконечно тяжел тот аскетизм, который предшествует разлуке, — вообще мысль о разлуке с тобой становится для меня невыносимой. Но мысль о лишении себя всего ради полного соединения с милым, ради разделения с ним высшей радости воскресенья! неужели такая мысль в самом деле так невыносима! Неужели не стоит принести высшую жертву, чтобы в самом радостном и дорогом никогда не разлучаться”21.

“Боря Бобылев!.. Юный, еще не коснувшийся бездн”. Скоро ему пришлось с ними соприкоснуться. Это соприкосновение стоило ему жизни.

**Александр НОСОВ.**

\* Публикация *О. П. ЮРКЕВИЧ.* Составление, подготовка текста и комментарии *Е. И.* *ЛУБЯННИКОВОЙ* и *Л. А. МНУХИНА.* Предисловие *А. А. СААКЯНЦ.*

1 Опубликовано в газете “Московский комсомолец”, 1994, 22 ноября, № 227.

\* Первое и последнее из писем настоящей подборки представлены в публикации Н. Дардыкиной “Любовь юной Цветаевой” (“Московский комсомолец”, 1994, 22 ноября, № 227), изобилующей разного рода ошибками.

\*\* Тогда же нами высказывалось предположение о возможной цветаевской описке в дате одного из писем, влекущей за собой неверное датирование другого письма и нарушение хронологической последовательности писем 1908 года (см.: “Минувшее”, стр. 343). Догадка эта полностью подтвердилась. Таким образом, правильная датировка писем, опубликованных в “Минувшем”, следующая: 1 — 22 июля 1908 года (вместо 22 июня), 2 — 13 августа 1908 года (вместо 13 июля). В дальнейшем в ссылках на эти письма дается исправленный вариант их датировки.

\* Этого, положим, нет. *(Сноска М. Цветаевой.)*

\* молодой человек *(франц.).*

\* Так в оригинале письма.

\* Когда мы ломали балки-то, помните? Каж<ется>, 19-го вечером. *(Сноска М. Цветаевой.)*

\* Так в оригинале письма.

\*\* Так в оригинале письма.

\* соответственно *(лат.).*

\* В оригинале письма: “гонито”.

\* Так в оригинале письма.

\* Публикация, подготовка текста и комментарии *СТАНИСЛАВА АЙДИНЯНА.*

\* Как сказано у Тургенева в “Отцы и дети” об отце Базарова (?) — у постели умиравшего сына. *(Примеч. автора.)*

\* Я на миг отвлекусь: недавно в России, пятьдесят лет спустя, поставили на экране 1-й том “Идиота”. Второй — не поставили, без объяснения. Экрану он, может быть, не под силу? Зрители остались в положении, близком к моему в 1911 году. Перервалась участь людей на середине романа. *(Примеч. автора.)*

\* В нем, но в другом, левом от ворот, флигеле с 1914 г. поселилась Марина, когда я уже в нем не жила. Несколько лет назад этот правый флигель *сожгли. (Примеч. автора.)*

\* Далее ссылки на это издание: “Воспоминания”, страница.

1 В феврале 1891 года “Московские ведомости” перепечатывали из “Варшавского дневника” хронику заседаний Варшавского окружного суда, в котором слушалось дело Бартенева; о “популярности” процесса можно судить по фельетону В. Буренина “Дело об утоплении опереточной канканерки Юзи Пршеканальской вольным наездником сводной закутильской молодежи Васей Полупьяновым” (“Новое время”, 1891, 22 февраля, № 5383). К процессу проявили внимание и более серьезные корреспонденты — см., например: Инкогнито [Немирович-Данченко Вл. И.]. Варшавская драма. — “Новости дня”, 1891, 11 февраля, № 2738.

2 Из провинциальной печати: “Варшавские и другие газеты об убийстве артистки Висновской”. — “Северный вестник”, 1891, № 3.

3 См.: Плевако Ф. Н. Речи. М. 1912.

4 См.: “Местная хроника”. — “Варшавский дневник”, 1889, 27 февраля, № 48.

5 “Московские известия. Убийство и самоубийство”. — “Московские ведомости”, 1889, 23 декабря, № 354. Этот случай вышел за границы “местной хроники” и попал на страницы столичной прессы (“Разные разности”. — “Неделя”, 1890, № 1); однако он не вызвал сколько-нибудь сравнимого с делом Бартенева общественного резонанса.

6 Соловьев В. С. Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. М. 1989, стр. 15 — 18 (Приложение к журналу “Вопросы философии”).

7 “Масса самоубийств”. — “Голос Москвы”, 1885, 2 сентября, № 177.

8 “Маленькая хроника”. — “Новое время”, 1889, 14 августа, № 4834. Отметим, что в конце 1880-х годов рост числа самоубийств становится предметом уже не только уголовной газетной хроники, но церковной печати (см., напр.: Свящ. Ф. Орнадский. О самоубийстве. — “Православное обозрение”, 1889, № 11-12 и др.).

9 Письмо к Наталье Андреевне Беер от 7 мая 1835 года (в кн.: Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М. 1915, стр. 132); Победоносцев К. П. Курс гражданского права. СПб. 1896, стр. 13 — соответственно.

10 Пытливого читателя отсылаем к публикации: Сажин В. Рука победителя. Выбранные места из переписки В. Белинского и М. Бакунина. — “Эротика в русской литературе. От Баркова до наших дней”. — “Литературное обозрение”. Специальный выпуск. М. 1992.

11 Розанов В. В. Семейный вопрос в России. Т. 1. СПб. 1903, стр. 11.

12 Вспомним впечатление, произведенное на Кити Щербацкую чтением дневника Левина, повествующего о его холостых забавах (эпизод, как известно, автобиографический): Кити, как и Долли, очень огорчалась; но и ждать за это “отмщения” как-то чрезмерно...

13 О чем сами они — от Мережковского до Белого — неустанно повторяли, хотя им никто и не верил: как же, Толстой, и вдруг такое...

14 Стихотворение Ф. И. Тютчева “День и ночь” отмечено Толстым: “Красота. Глубина” (см.: Тютчев Ф. И. Лирика. Т. 1. М. 1966, стр. 376).

15 Елагин Ю. Н. [Говоруха-Отрок Ю. Н.] Литературно-критические очерки. “Крейцерова соната”. — “Русский вестник”, 1891, № 2, стр. 324.

16 Стихотворение Тютчева “Люблю глаза твои, мой друг...”, хотя и было написано в 1836 году, впервые было напечатано спустя много лет после смерти поэта и, естественно, Толстому очень понравилось, в особенности — “угрюмый, тусклый” (см.: Тютчев Ф. И. Указ. изд., стр. 370).

17 Об истории психоанализа в России, а также о русских пациентах З. Фрейда см.: Эткинд Александр. Эрос невозможного. М. 1994. В названии его книги использовано выражение Вяч. Иванова, характеризующее настроение эпохи.

18 “Из провинциальной печати”. — “Северный вестник”, 1891, № 3. Заметим, что прочитать повесть Толстого герои “варшавской истории” не могли по обстоятельствам даже чисто хронологическим: доступный текст “Крейцеровой сонаты” появился лишь в мае 1891 года.

19 Примечательно, что, несмотря на несомненную либерализацию российского законодательства, вызванную общественно-политическими реформами 1860 — 1870-х годов, законы, относящиеся к семье, оставались неизменны вплоть до начала ХХ века, когда было узаконено право на раздельное жительство супругов и облегчена процедура разводов. Даже пресловутый классицизм в образовании рухнул уже в 1890-е годы, тогда как в начале XX века муж еще мог затребовать к себе жену по этапу!

20 Об этом ярко и красочно написал В. Ходасевич в известном очерке “Конец Ренаты”.

21 ОР РГБ, ф. 171, к. 9, ед. хр. 1, л. 3.